

12.174к

12

12 174 к

А.
Венир Ноздрин



ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ



ИВГИЗ • 1935



Проработав свыше тридцати лет в текстильном производстве, отбыв ссылку, Авенир Евстигнеевич Ноздрин на своих плечах перенес всю тяжесть капиталистической эксплуатации и царского гнета. Поэтому его дореволюционные стихи, занимающие большую часть настоящего сборника, рисующие быт, труд и революционную борьбу текстильщиков, проникнуты глубокой любовью к рабочему и жгучей ненавистью к капиталисту-фабриканту.



12.174к 7

Авенар Коздрин

ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗДАТ

141⁵ 864860

118 1060

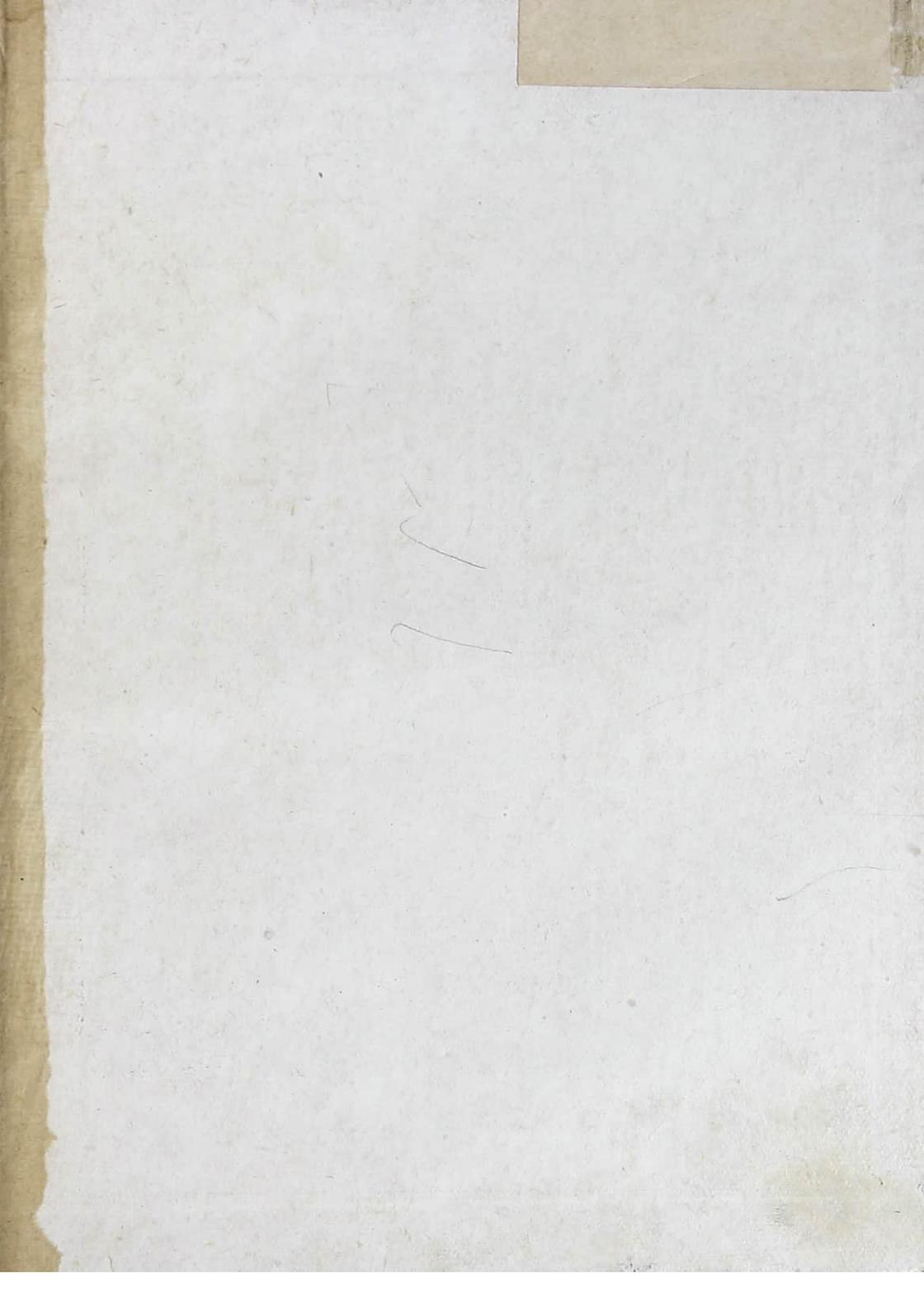
151184730

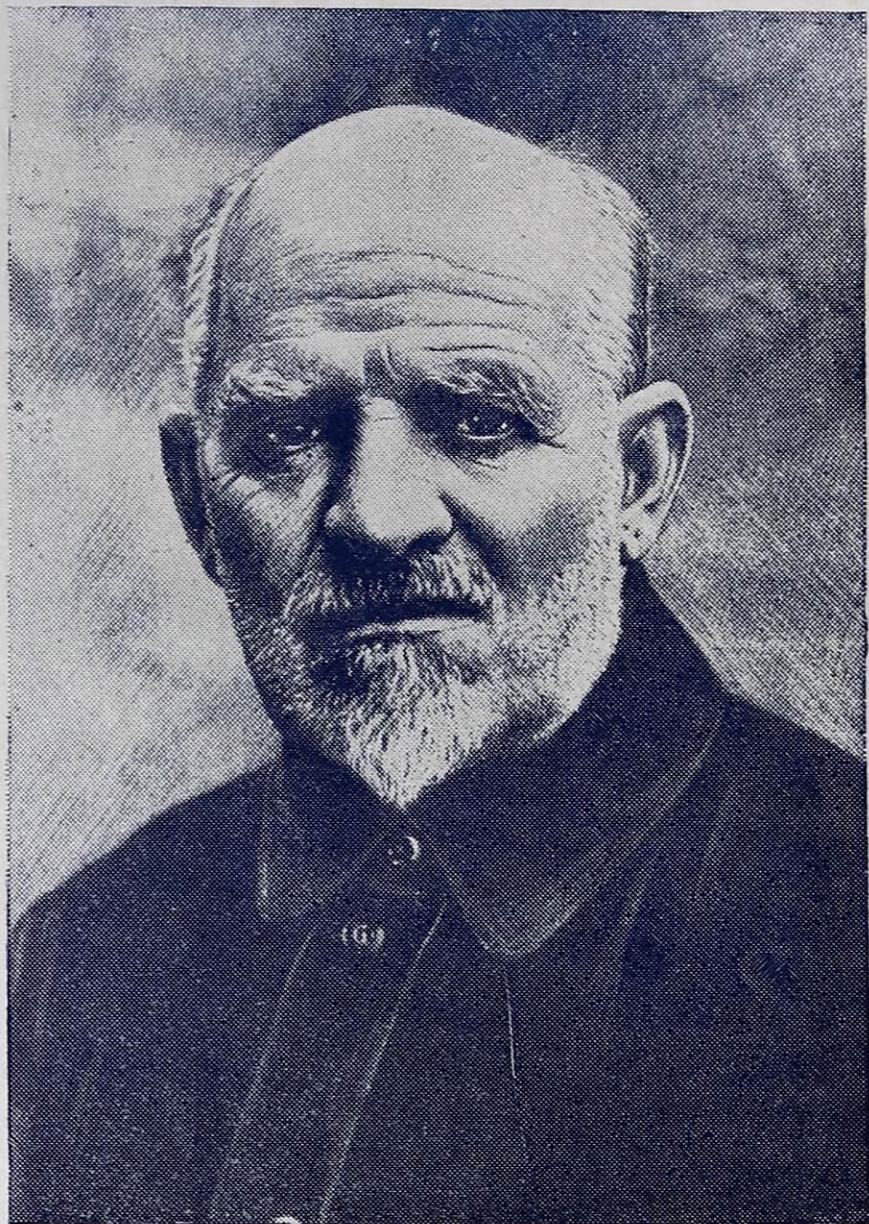
12.05.95 migra.

17.03.98 N 538

7.09.08 - 2768

546





А. Е. НОЗДРИН.

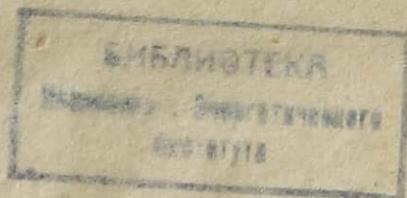
АВЕНИР НОЗДРИН

Н 78

ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ

ТИХОТВОРЕНИЯ

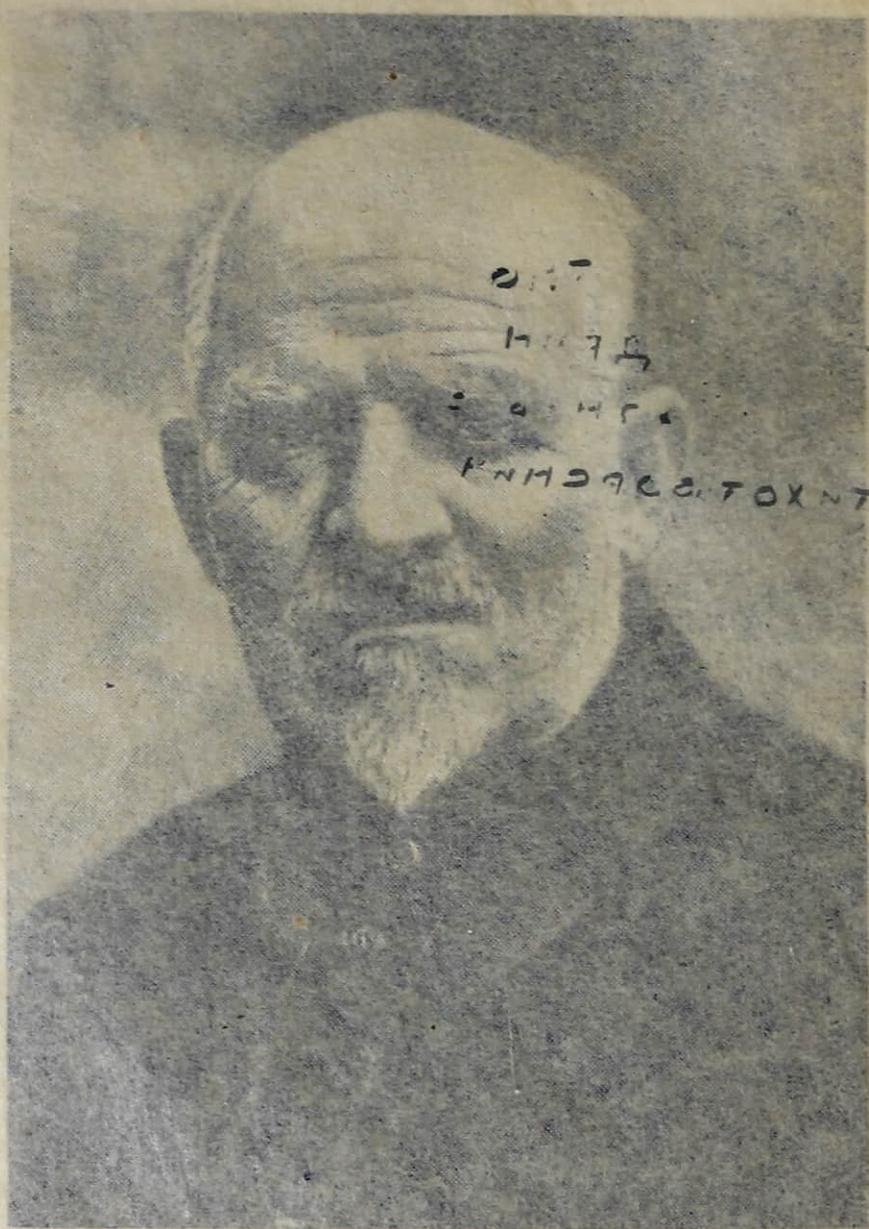
12174к



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКВА 1935 ИВАНОВО

54

--2010



017

1975

С. А. М. С.

КНИЖЕВНО-ТОЧНО

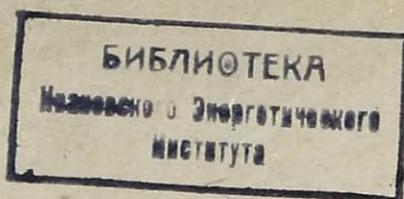
А. Е. НОЗДРИН.

12

АВЕНИР НОЗДРИН

Н 78

ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

МОСКВА 1935 ИВАНОВО

--- 2010

540

12174к.

87 Н

ПРОВЕРЕНО
_____ 1935 г.

Редактор Д. Г. Прокофьев. Техни-
ческий редактор В. П. Федоров.
Корректор А. П. Прянишникова.
Супер-обложка худ. В. Н. Говорова.

Сдано в набор 9 мая 1935 г. Под-
писано к печати 9 августа 1935 г.
Формат 72×108/32. Тираж 1130.
Бум. л. 2⁵/₁₀. Печ. л. 5¹/₁+2 вклей-
ки. Учетно-авт. л. 6,75. В бум. л
120384 зн. Изд. № 885. Уполном.
Ивобллита № 778. Инд. X.

Типография издательства Ива-
новского обкома ВКП(б), Иваново.
Типографская, 4. Заказ № 2492.

Цена 3 руб.
Переплет 1 руб.



8193

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом году исполнилось тридцатилетие знаменитой стачки ивановских ткачей и первого в России Совета рабочих депутатов.

Авенир Евстигнеевич Ноздрин был непосредственным участником этой стачки и председателем Совета рабочих депутатов.

Сборник избранных стихотворений Авенира Ноздрина является юбилейным изданием.

Сборник состоит из восьми разделов: В городе ткачей, Пятый год, Звон кандалный, Годы войны, Красная весна, Производство, Старая и новая деревня, Интерсвязь, —хватывающих период с 1898 по 1935 г. Значительная часть стихотворений была напечатана в книге Авенира Ноздрина „Старый парус“, изданной в 1927 г. „Московским товариществом писателей“.

В конце сборника печатается статья „Как мы начинали“ — литературные воспоминания Авенира Ноздрина.

Авенир Евстигнеевич Ноздрин считается одним из зачинателей пролетарской поэзии, певцом текстильного края. Печататься он начал в конце девяностых годов прошлого столетия.

Проработав свыше тридцати лет в текстильном производстве, отбыв ссылку, Авенир Евстигнеевич на своих плечах перенес всю тяжесть капиталистической эксплуатации и царского гнета. Поэтому его дореволюционные стихи, занимающие большую часть настоящего сборника, рисующие быт, труд и революционную борьбу текстильщиков, проникнуты глубокой любовью к рабочему и жгучей ненавистью к капиталисту-фабриканту.

Большое место в стихах Авенира Евстигнеевича уделяется работникам-ткачихе. Это не случайно — ткачихи в Иваново-Вознесенске представляли собой огромную производственную и революционную силу.

С формальной стороны большинство стихотворений Авенира Ноздрина небезупречно: нередки стилистическая неравномерность, прозаизмы, не-

удачные глагольные рифмы и т. п. Исторический и общественный вес его стихотворений значительней их литературного веса.

По личному признанию Авенира Евстигнеевича литература в его жизни была не основным, а приводящим делом. „К литературе я окончательно пришел в ссылке“, — говорит он.

В своем стихотворении, посвященном поэту-двойнику А. Н. Благову, Авенир Евстигнеевич пишет:

Твой путь — мой путь: через одни рогатки
Его нам приходилось замедлять,
И наших песен первые зачатки
Не можем мы победою назвать.
Сейчас же мы живем такой искусства полнотою,
Чего и сфантазировать мы раньше не могли.
И счастливы мы тем, что под кнутом, нуждою
Свой песен дар, как честь, уберегли.

Авениру Евстигнеевичу 73 года (родился в 1862 г.). Несмотря на свой преклонный возраст, он живо интересуется событиями нынешнего дня, пишет стихи о большевистской весне, детдоме, комсомоле.

Ярко увидев и горячо почувствовав завершение идеалов своей молодости, в стихотворении „К итогам жизни“ он говорит:

Когда страна цветет,
Она и петь должна,
И радостно поет
Моей страны весна.

Ив. КОКОРЕВ.

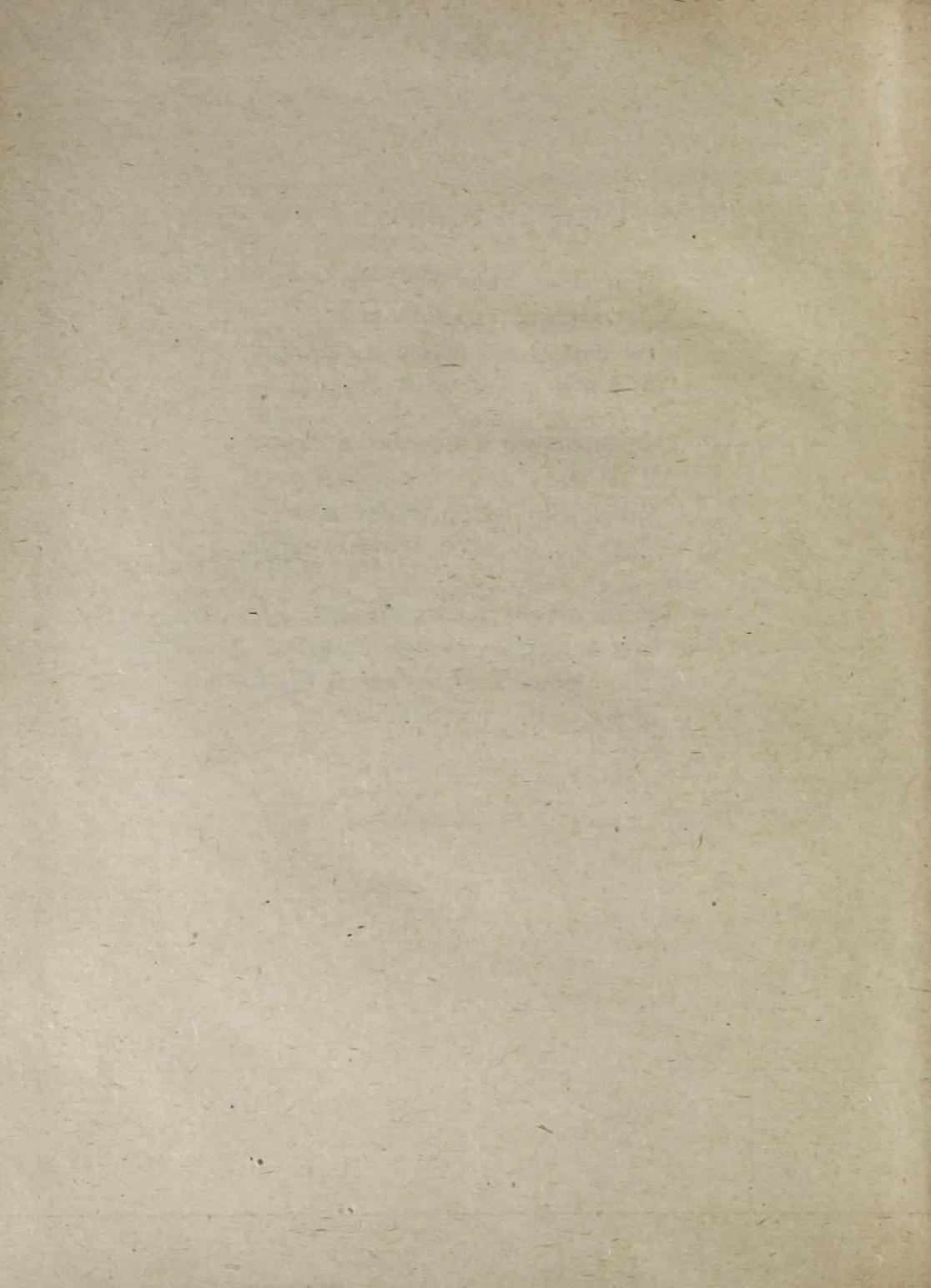
СТАРЫЙ ПАРУС

Мои года, твои лета —
Несоответствие большое:
Ты светл, как юности мечта,
А я... а я — совсем другое!

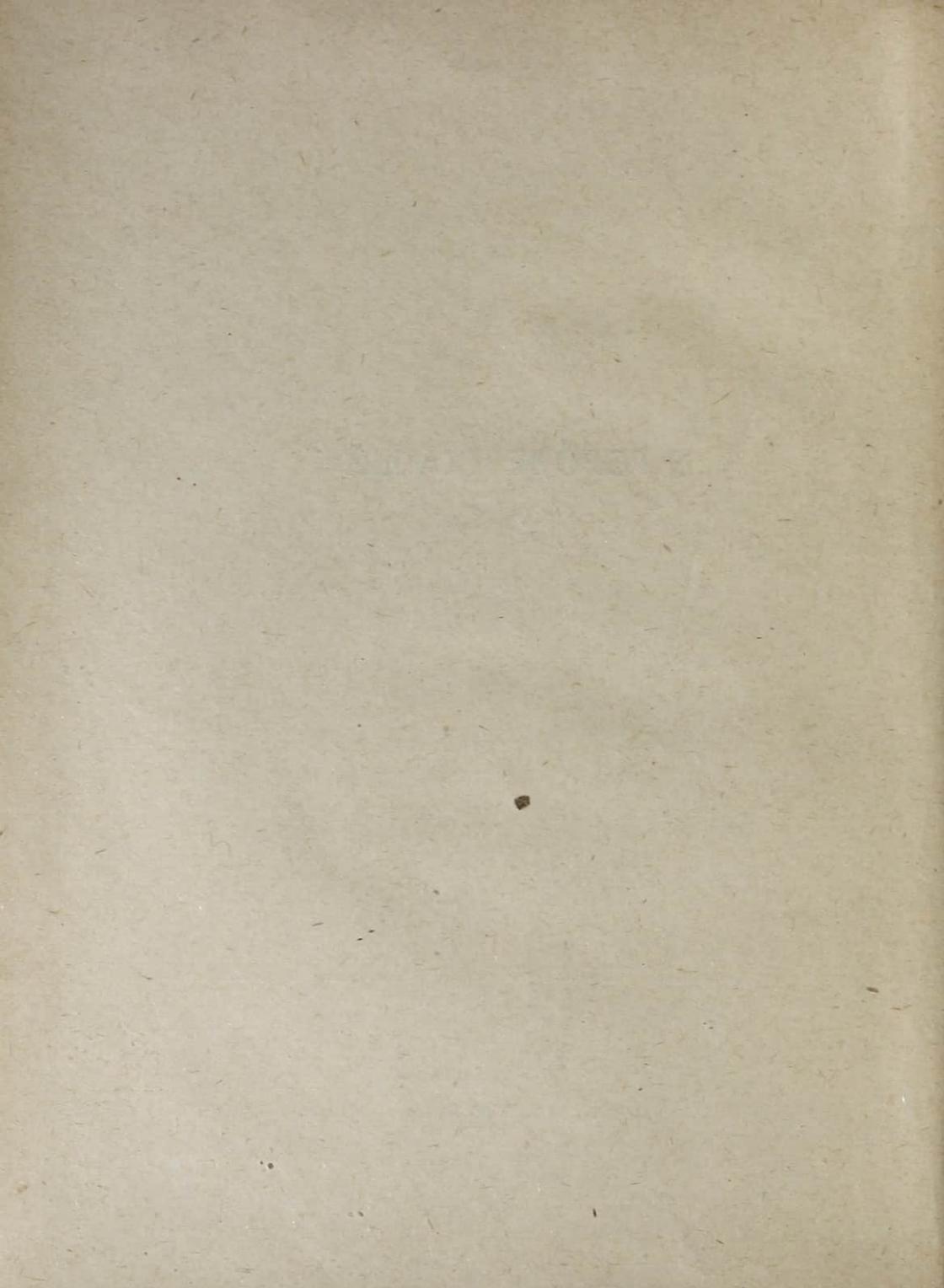
От красоты в борьбе, в огне
Я не бегу и не чураюсь;
Попутный ветер будет мне —
Я разверну свой старый парус...

Я не стыжусь его заплат:
Его заплаты — испытанья...
Они, мой славный юный брат,
Моих седин завоеванья.

1912 г.



В ГОРОДЕ ТКАЧЕЙ



У ГРОЗНОГО ПОРОГА

Не нагладишься на луга,
Не налюбуеться полями...
Они, поёмы-берега,
У Волги стелются коврами.

Но эта Волги красота
Стоит у грозного порога:
Иные тянутся места,
И взор гнетет печаль-дорога.

То за работою пришли,
То просит хлеба рать бездомных.
Они в деревне не нашли
Приюта для людей голодных.

Теперь, бросая якоря,
Они хотят здесь задержаться...
В немолчном гневe волгаря
Порывам злобы не уняться.

Рев полных скорби голосов
Не может чутких не печалить,
И стон от волжских берегов
Уже не думает отчалить.

Ждать надо паводка, волны,
Грозы народного подъема:
Уж очень тяжек стон страны,
И слишком всех гнетет истома!

1898 г.

СТАРЫЙ ГОРОД РАБОЧИХ

Город хилых, жалких хаток,
Город каменных палат,
Крепко запертых палаток
И церковных амфилад.

Твой, хозяин сыт, доволен.
Ткач быть сытым погодит;
То, что он совсем бескровен,
Для хозяина не стыд.

Он, владыка, рад притоку
Деревенских беглецов.
Рад их поту, крови-соку,
Рад он видеть в них рабов.

На „своих“ он зубы точит:
Горожанин дерзок стал,
Разбирается рабочий
В том, чем дышит капитал.

1907 г.

У ФАБРИЧНЫХ ЗАСТЕНКОВ

Здесь казенных нет работ,
Ткут миткаль из пряжи.
А взгляните: у ворот
Сколько всякой стражи!

Словно здесь „Рабочий дом“,
Где за ткацкой „парой“
Честный труд не стал трудом,
А какой-то карой,

1906 г.

СМЕННЫЕ

Бьет десять... Шум ремней умолк.
Умолк и визг меж шестернями
И не снует в станке челнок,
И нет ткача между станками.

Спешит домой он в этот час,
В пути его раздумья горьки:
Ткача ждет ужин: кислый квас
И сухари из хлебной корки.

Шум-гам машинный сменит он
Расчетом-выкладкой о хлебе..
И будет тяжек ночи сон
На рваном стареньком отребье.

А завтра к часу дня ему
Придется вновь вернуться к шуму.
Он сменит брата по ярму,
Но о нужде не сменит думу.

1911 г.

СМЕРТЬ ТКАЧА

Всю жизнь он ткал, сдавал миткаль,
Его обмеривали в „штуке...“¹
В его лице жила печаль
Большой, невысказанной муки...

Ткач умер. Сменщик загрустил.
Учел свою больную силу,
И с плачем смену пропустил:
Отнес товарища в могилу.

Ткача несли на миткале.
В гробу лежал он бледный, тощий.
И на пути к сырой земле
Не тяготились смертной ношей.

Но и на этот раз миткаль
Он растянул, „пример“² дал штуке...
А взял с собою он печаль
Большой, невысказанной муки.

1911 г.

Примечания см. в конце стихотворений.

ЭТАПЫ

Впотьмах порабощения,
В тисках былых неволь,
Мы ткали за лучиною,
Тая на сердце боль.

Лучину свечи сальные
Сменили, но тягло
Хозяйской подъяремщины,
Нас пуще пригнело.

И свет свечей, подсвечники
Сменяет капитал:
Мы осветились лампами,
Но труд не легче стал.

За светом керосиновым
Идет победный газ,
А труд при свете газовом
Еще стал злей для нас.

Казалось, электричество
Спасет нас: тьма, прощай!
А жить так стало маятно,
Хоть все вокруг зажигай!

СТАРАЯ ТКАЧИХА

У ворот фабричных
Старая Петровна..
На словах обиды,
Горяча, задорна.

Говорит товаркам:
— Эх, мы, бабы, бабы,
Как мы все забиты,
Голодны и слабы!

Лет, поди, уж сорок
Мучаюсь я в ткацкой.
Я глуха: у нас ведь
В корпусах шум адский.

И суха, как щепка,
Есть на то причины..
Из меня бы надо
Нащепать лучины.

И лучиной этой
Подпалить жизнь злую:
Надо выжечь тягость,
Маяту людскую!

1911 г.

„ИНТЕРНАЛ“

Старый ткач чтеца-сынишку
От книжонки оторвал.
— Брось-ка сказки. На вот книжку...
Ты ее бы почитал!...

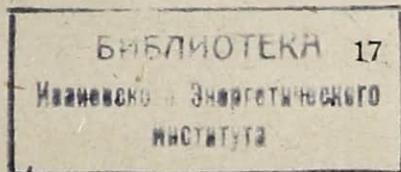
Книжка, парень, небольшая,
Много меньше псалтыря,
А поверь, сынок, такая...
Против бога и царя...

Ты найди в ней песню эту.
Ту, где пишут: будет бой,
Всех купцов сживут со свету...
Ты читай — я за тобой. —

И за сыном, как молитву,
Учит ткач свой „Интернал“.
— Слышишь, баба, скоро в битву
Мы пойдем на капитал...—

И нежданно вдруг он всхлипнул...
Со слезами — на жену:
— Ты ворчала все, что гибну,
Что я тешу сатану.

12174К 546



Это будет бой последний:
Ночь гнетущая пройдет,
Силой властною, победной
Наше солнышко взойдет.

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ТРУДЕ

У Гарелина Мефодья
В корпусах станки шумят,
Из рабочих гнут ободья —
Только спинушки трещат.

Эх, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, подернем!
Да, ух!

Для Кокушкина Захара,
Богача из богачей,
Мы везем котел для пара
На штрафные от ткачей.

Эх, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, подернем!
Да, ух!

ШПИКИ И ПРЕСНЯКИ

1897 г.

Тридцать лет с пятком назад
Мы бунтили, бастовали.
— Ну ткачи опять шумят...—
Обыватели ворчали.

В штаб губернский войсковой
Шли за войском телеграммы.
Ткач наш, на ухо тугой,
Ждал того, что скажут „Ямы“.

А у „Ям“ давным-давно
Ох, как злоба накипела;
„Ямы“ знали лишь одно,
Что ткачи взялись за дело.

Бабы месят пресняки,
Угодить мужьям охота,
Что по делу мужики
Вышли с фабрик за ворота.

Бабы шепчутся с утра:
— Мы и сами побушуем,
Мужикам и нам пора
Поцарапаться с буржуем.

На Всесвятской в мезонине
Из эс-деков штаб-стачком;
Начадили, как в овине,
Шумно, спелись все во всем.

Все учтено: штраф, обмеры,
Непригодность, брак основ,
Мастера и инженеры,
Сам Витов и Дербенев...¹

Шныряют тут и там шпионы,
Те, что тешили властей,
Что с.-д. искоренены,
Нет крамолы среди ткачей.

А она из ссылок, тюрем
Как сумела убежать?
По купцам, по самодурам
Начинает бить опять.

Рвет и мечет Тимофеев,²
Ополчился на своих:
Тонет он среди трофеев —
Прокламаций боевых.

И в борьбе с крамольным духом.
С толку сбилися шпики;
А ямским борцам, стряпухам,
Удались пресняки.

1932 г.

ОТЦЫ РЕВОЛЮЦИИ

В чаду табачном в комнате-курилке
Подвижники подполья спор ведут,
Где душно, как в избе сибирской ссылки,
Когда собирались на диспуты, на суд.

Подпольщики один другого старше,
Кто слеп, кто дряхл, но больше молодцы;
И все они — герои жизни нашей,
Великой революции отцы.

Весь Север, всю Сибирь они перепознали,
Как книгу скорбную отчаяний земли,
Где Ленина одни встречали,
Другие с ним туда этапом шли.

В речах у стариков немало анекдотов,
О ротмистрах, тюремщиках, шпиках,
Каких-каких они ни знали обормотов,
Чего ни довелось им видеть, будучи в цепях!

Перемежается все это сожаленьем
О рано выбывших из боевых рядов;
Подсчитывают добытый терньем
Стаж ссылки, тюрем, каторжных годов.

Немудрено, что эти люди слепы,
Что преждевременно пришлось одряхлеть...
Но кончено... Забудем тюрем цепи:
Насилием им больше не греметь...

Звонят звонки в хоромах бывших барских,
Зовут на заседание дней старых бунтаря...
В программе дня: тринадцать лет октябрьских,
Двенадцать лет предгрозя Октября“.

1930 г.

ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО

То и дело слышишь
Сказку стариков,
Вспоминают детство
Золотых годов.

Знаю это золото
Медных пятакoв,
Праздничных подачек
Пьяненьких отцов.

С пятаком бывало
На базар бежишь,
Где на сайки, сласти
Только ведь глядишь.

А не купишь сладкого, —
Жадными глазами
Тянешься за книжкой
С лешими, с чертями.

Верили за книжкой
В бредни вековые:
Что в лесу есть леший,
Дома — домовые.

С детства нам твердили:
Жизнь — грехопаденье,
И за все сулили
Адские мученья.

Но прошли, как смылись,
Эти времена:
„Детству золотому“
Стала грош цена.

Выжег ад крошечный
Новой жизни пламень ..
Батяка перед сыном
Стал держать экзамен.

Дед дивится знаниям
Карапуза-внука,
Поражает старого
Внукова наука.

Нет детей в загоне.
Нет детей в тени;
Настоящим золотом
Блещут детства дни.

Пышут путеводные
Пионеркостры, —
Это вехи к радости
Радостной поры.

РОМАН

Через стену от меня
Мастерская молодежи,
Через стену слышу я
Запах дегтя, запах кожи.

Целый день колотят там
По гвоздям и по колодке,
Починяют старикам
И обновы шьют молодке.

И под этот стук, порой
Утомительно-тяжелый,
Стал я слышать в мастерской
Смех заказчицы веселой.

Я прислушался к нему —
Чье-то сердце там в ударе.
Я решил: у нас в дому
Есть роман и он в разгаре.

Чу! Спать там слышен крик —
Девка смехом разразилась.
Ну, и кто же там шутник?
И в кого она влюбилась?

1908 г.

В БОКОВУШЕ.

У работницы Настюши
Неуёмный разговор:
В ее тесной боковуше
Нынче слову дан простор.

Молодой народ — все боечь,
И ему бы только жить,
А не жизни тяжкой горечь
В глубине души таить.

Но сегодня все наружу
Прет, как в мае зеления;
Каждый хочет свою душу
Обогреть свободой дня.

Слышно: — К чорту боковуши!
К чорту, побоку весь строй!.. —
И бурлят у юных души
Наступающей грозой.

Март 1917 г.

ЦЕРКОВНЫЙ ПЕЙЗАЖ

На двух извозчиках заезженных, простых
Подъехали ткачи к церковному подъезду..
В кортеже свадебном невесел был жених,
И видел я печальную невесту.
В их адрес из зевак толпы
Летели язвы-стрелы мещанина:
Что заждались их певчие, попы,
Невеста — хоть куда, и сам жених — картина.
А дальше было таинство церквей,
Что совершалось довольно просто:
Поп торопился обвенчать ткачей,
Сердился на дьячка, тянувшего „Апостол“.

1899 г.

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИИ ЮБИЛЕЙ БОЛЬШЕВИЧКИ

Из семидесяти лет
Вычтем детства годы...
Дальше — юности расцвет,
Поиски свободы.

Школа. Школьные чины,
С ними неполадки,
Объявление им войны.
Боевые схватки.

И от этих дней — звена
Боевого пункта,
Оттолкнулася она
В путь во имя бунта.

За тюрьмою шла тюрьма,
Муки юбилярши
Возмущенного ума
В обществе „параши“!..!

Собрались все крепыши
Чествовать бунтарку.
Льются речи от души,
Вспоминают Талку.

Что ни слово, то этап,
Тюрем голодовки,
Из жандармских цепких лап
Ловкие увертки.

Но никто ведь речь не мог
Кончить в вольном зале:
Спазмы, нервы, слез восторг
Их концу мешали.

И сегодня, в юбилей,
Люди как бы сдали,
Те, что в пору, в век цепей
Слезы отрицали.

1932 г.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ

Как вор в ночи, поднявши ворот,
Крадусь я городом родным.
А ведь недавно этот город
Меня любил, считал своим.

Родная, милая сторонка,
Пришел семью я увидеть.
Хоть услышать бы плач ребенка!
Хоть колыбель бы покачать!

Но как-нибудь до наступленья
Шумихи — жизни городской —
Еще одно я преступленье
Свершу — увижуся с семьей.

Посты мне в городе знакомы,
Я обойду их, прячась в тьму.
С тряпья холодного, с соломы
Семью родную подниму.

А схватят... тяжкая дорога...
Этап... Путевка на гроши...
И я до милого порога
Крадусь, как вор в ночной тиши.

1911 г.

„ЦВЕТУТ ФИАЛКИ“

Я помню прошлого маевки...
Тот день особенно большой,
Нечеловеческой издевки
Над человеческой душой.
Мы из подполья уходили
В лесные дебри-тайники,
А вслед за нами шли, следили
Казачи, подлые шпики.
Мне не забыть — „цветут фиалки“ —
Пароль весенних наших дней...
И помню, как нас на лужайке
Сгоняли в стадо, как зверей.
Они тогда из нас собирали
Букет весны, венок плели.
И зло нагайками хлестали,
Чтоб в нас фиалки не цвели.
„Цветут фиалки“... В ссылке, в тюрьмах
Мы долго помнили потом,
И никогда в своих раздумьях
Не примирялись с врагом.
А там нас мучили, томили
Держа в железе и в пыли.
Но мы и там борьбою жили —
В душе фиалки берегли.

1910 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ¹

Поэту-двойнику Александру Николаевичу Блязову

Поэт заводов, фабрик Глинищева, Ям,²
Художник, мастер песенного слова,
Как ткач ты рассказал ткачам
О новых их путях, о их путях былого.

А нынче о тебе ткачи ведут рассказ,
Чем был ты за полсотни лет в краю текстиля,
Как вырос из тебя поэт-энтузиаст
Созвучного эпохе нашей стилия.

Была пора: ты знал полей народ,
Шел к песням от лесов и пастбищ,
Но грянул пятый, пролетарский год,
И ты запел, как новых дней товарищ.

А самого травил годами анилин,³
Дивиться надо, как тебя совсем не затравили,
От анилина шел лишь путь один:
Под заступ, к преждевременной могиле.

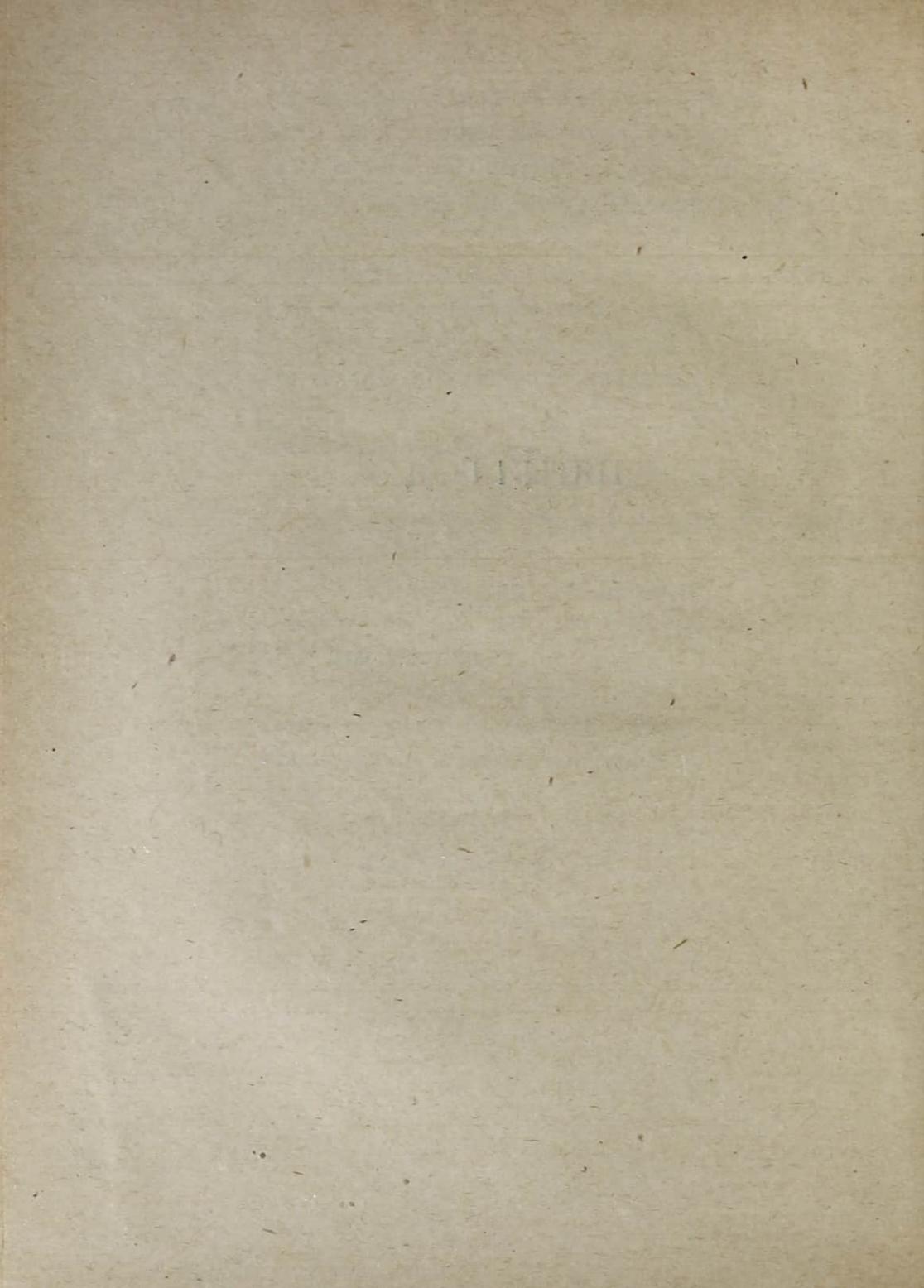
Не легче гнет был и других систем,
Где надо было обливаться потом,
Что сохранил ты для сегодняшних поэм,
Что стало у тебя, поэта, взлетом.

Мучительнее анилина был царя сапог.
Кого он не давил жестокою пятою?
Для наших вольных песен не было дорог,
Борьба за них была мучительной борьбою.

Твой путь — мой путь: через одни рогатки
Его нам приходилось пролагать,
И наших песен первые зачатки
Не можем мы победою назвать.

Сейчас же мы живем
Такой искусства полнотою,
Чего и сфантазировать мы раньше не могли.
И счастливы мы тем,
Что под кнутом, нуждою
Свой песен дар, как честь уберегли.
Нам это говорит:
Твори и создай!..
Поэт, гордися юбилейной датой:
Ивановский текстильный край
Тебе сегодня скажет:
Ты его
Поэт-вожатый.

ПЯТЫЙ ГОД



9-е ЯНВАРЯ

Петербург
Всегда скупой
На солнце.
Дни январские,
А снег
От боя тает:
На асфальте,
На бульжнике,
На торце
Люд рабочий
Умер,
Умирает.
На смерть сотни
Повалили пули..
И за что?
За мысль,
Царя любовь познать..
На расстрелянных,
Как в хмелевом разгуле,
Умудрились казаки
Поплясать
В бешеном галопе
За толпою неповинных,
Чтобы упразднить
Свидетелей толпы.

У подков коней
Казацких
Притупились острые
Шипы.
Под сучками
Александровского сада
Успокоилась с окраин
Гольтьба.
Во дворце царя
Ликующих бравада:
— Вот и вся
Их мудрая борьба.
— Нет не вся!..—
Кричали по предместью
Фабрик
Люди от станка,
Котла...
И готовились они к возмездью
И пора возмездия пришла.
С плеч народа
Сброшена
Былого дыба,
Порешили с силой
Батюшку-царя,
И октябрьское
Рабочее возмездье
Воздано ему
За это января.

НАКАНУНЕ МАЯ

Шумом, гамом, писком
Вопит ярь лесная,
Все кричит о близком
Наступленьи мая.

Ждут май обновленным,
Бурным, светозарным,
А не обыденным,
Скучно-календарным.

Забурлило снова
Царство стачек, ситца:
К стачке все готово,
Стачка массе снится...

Что хлестнет по сытым
По властям, буржуйам,
И по их наймитам,
Сыска подлым шкурам.

Те, кого в бараний
Рог буржуй сгибает,
Знают все зараней,
Что их ожидает.

Власть пошлет денеши,
Власть нажмет педали:
„Шлите конных, пеших
Войск. Ткачи восстали“.

На восставших звери
Бросят свои крепки.
У ткачей потерей
Могут быть лишь цепи.

И на грез загады —
Овладеть всем миром
Не создать преграды
Голубым мундирам.

Мира тот владыкой
Будет, кто трудится.
Это в нем велико,
Этим он гордится!..

1905 г.

ЗАБАСТОВКА

Молчат гиганты-корпуса —
Машины не грохочут,
Но смелы, дерзки голоса
Бастующих рабочих.

Нет ни дыминки, спущен пар,
Оставлена работа.
Последним вышел кочегар
Из царства тьмы и пота.

Одна „контора“, как раба,
В народе пустозвонит:
Что ничего не даст борьба,
Что капитал все сломит.

Кричат конторе: — Замолчи,
И жди от нас расчетов...
— На площадь!.. — крикнули ткачи,
— К управе живоглотов!..

И потекла рабочих рать.
Народ — неузнаваем:
Никто не захотел отстать,
Немой стал краснобаем.

С панелей робкие сошли,
Сомкнулись гнева токи...
Победно новое земли
Шумит в людском потоке.

1906 г.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ЗАБАСТОВКИ

Ворота фабрик на запоре,
Где почта сторожам сдана,
С утра нет никого в конторе,
И в телефонной тишина.

Нет в сторожах раба-служаки:
В сторожку пробралась мысль,
Что с фабрикантами без драки
Нельзя рабочим обойтись.

А люди города предместий,
С окраин нищеты людской
Потоком гнева, лавой мести
Стекались к думе городской.

Из окон думы именитой
Встречали стачечный напор
С улыбкой злобной, ядовитой
Жандармский ротмистр, прокурор,

Вожди улыбки их видали
В былые арестные дни
И в час, когда ткачи восстали,
Уже не страшны им они.

Когда с трибун, как из бойниц,
Дошли до власти вопли женщин,
То улыбающихся лиц
Среди мундиров стало меньше.

Власть услышала: с картузом
Был брошен лозунг в гущу массы:
„Не может крепким быть стачком,
Когда в стачкоме нету кассы“.

Картуз вернулся: медяки
Звучали в нем победной речью,
Рабочих крохи, пятаки,
Властей хлестали, как картечью.

1905 г.

С УВОДИ НА ТАЛКУ ¹

(Глава из поэмы „Гора“)

„Владельцы фабрик — палачи,
Их слуги — им подмога,
Теснят — терпи, дерут — молчи.
Умри — одна дорога!“

(Из песни восстания силезских ткачей)

Здесь были свои со своими,
Что жили на равном тягле...
В одном мы коптились дыме,
В одном мы варились котле.

И были мы тверды в бунтарстве,
И знали, куда мы идем;
Как борются в ситцевом царстве,
И кто в этом царстве царем.

Узнали, как после ристалищ,
Казацких набегов, плетей,
По-новому слово „товарищ“
Запело святого святей.

Мы вышли, ушли из-под пресса,
На что не глядели б глаза.
Мы видели сказочность леса
Из рук голосующих „за“.

За мысль, что не знает свободы,
А знает лишь тюрем окно.
За то, чтобы были народы
Все вместе и все заодно.

Забыта мещанская рухлядь, —
Она уходила в былье.
Мы проклинали старую Уводь,
На Талку сменяли ее.

И наши слова доходили
До чуткого слуха, до глаз,
До ран застарелой обиды
Широких обиженных масс.

Ложилось все это севом
На почву, что взрыта была
Отчаяньем, голодом, гневом
И вечным бесправьем тягла.

На улице имени графа
Восстанье „порядок“ крушит,
Валили столбы телеграфа,
Из проволок ткали щиты.

Как строить щиты, баррикады
Учились наши ткачи,
Не знать сожалений, пощады
К тому, что творят богачи.

У фабрик росли бивуаки,
С вокзала тянулся наш брат,
За сотнею сотня — казаки,
За ротою — рота солдат.

Но братья в шинелях брататься
Не думали с нами тогда,
Пришлось в штыки упираться
Защитникам воли, труда.

Мы были едины в Совете,
Сошлись в нем не с разных дорог.
И знали, что голодны дети —
День осени стал недалек.

Что время о зимних невзгодах,
Подумать, поглубже взглянуть.
Что будет потом на заводах,
Каким будет фабрики путь.

В их стены придется вернуться
До нового мая утра:
Мы знали — враги не уймутся,
Останется гнета пора...

Заставит жить снова борьбою,
Мечей мы не вложим в ножны,
Как шли мы стеной лобовою,
Такой и остаться должны

Не дрогнули мы пред укором,
Когда прогудели гудки,
Широкой волною, напором
В атаку пошли все станки.

Клялись, что себя по-хозяйски
Мы будем вести в корпусах.
Не будем, как раньше, по-рабски
Толкаться в конторских дверях.

На мир, на уступки, на сделки
Не шли мы и впредь не пойдем.
Мы были в большой переделке
И вышли оттуда живьем.

1905 г.

НА МИТИНГЕ

Море голов. Слышен говор задорный,
Грозны с трибун голоса..
Флаги красуются: красный и черный.
Это — его паруса.

Черный — по павшим героям развернут,
Надпись — к возмездью зовет.
Красный — кричит, что живые помянут
Тем, кто голодных гнетет.

В море голов, словно белые чайки,
Женщин белеют платки.
Это — недавние наши хозяйки,
Знавшие только шестки.

Это — величие сил неуёмных,
Мощь рокового огня.
Ринется он и снесет довольных —
Преграду счастливого дня.

1906 г.

У КРОВАВО-РОКОВОЙ ГРАНИ

Перед подъездом сильных
Стояли мы стеной,
Голодных, нервных, пыльных
Нас окружал конвой.

Казачи-астраханцы
Плясали на конях,
И жутки были танцы
На сытых лошадях.

Под храп коней казацких,
Под цоканье подков,
Мы, дети шумных ткацких,
Шли на огонь штыков.

Мы поднимали руки,
Крича: „Работы! Есть!“
В нас говорили муки,
Поруганная честь.

Мы долю трудовую
Влачили, как позор...
Мы взрыли мостовую,
Чтоб дать врагу отпор.

Мы подходили к грани
Кроваво-роковой.
Но что-то в черном стане
Сдержало их разбой.

1906 г.

ТАЛКА

Дунаев говорил. Казалось, с наших плеч
Спадали лямки трудового ига, —
Захватывала нас его простая речь,
Как всем понятная, всем дорогая книга.

Впивались женские глаза в него любовно,
Никто не мог его не одобрять,
И утверждалось всеми поголовно
Решительное — да, врагу не уступать.

И не было прекраснее того большого мая!
Он был под солнцем и в глазах вождей,
Что, на мятеж рабочих поднимая,
Сдвигали их со старых всех путей.

Дивились все, куда девалась поступь рабья,
Когда все, как один, сомкнувшись на врага,
С любимым именем Дунаева Евлампья
Связали нашей Талки берега.

Тот берег, где земля давно не знала леса,
Мы облесили массою людской.
И цвел в лесу мятеж, и пелась „Марсельеза“,
И отовсюду веяло бунтарскою душой.

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ

Наша Талка — малоречье
И Дунаем ей не быть,
Но дунаевские речи
Нам на ней не позабыть.

Пусть речонка маловодна,
Но оставлен ею след,
Где истории угодно
Было вынянчить Совет.

Неказистая собою,
Речка мирно вдаль текла,
И ее вода живою
Никогда здесь не слыла.

А рабочий наш, как в сказке,
Стал на ней совсем живой,
Он из ткацких, самотаски¹
Вырос в силу, стал герой.

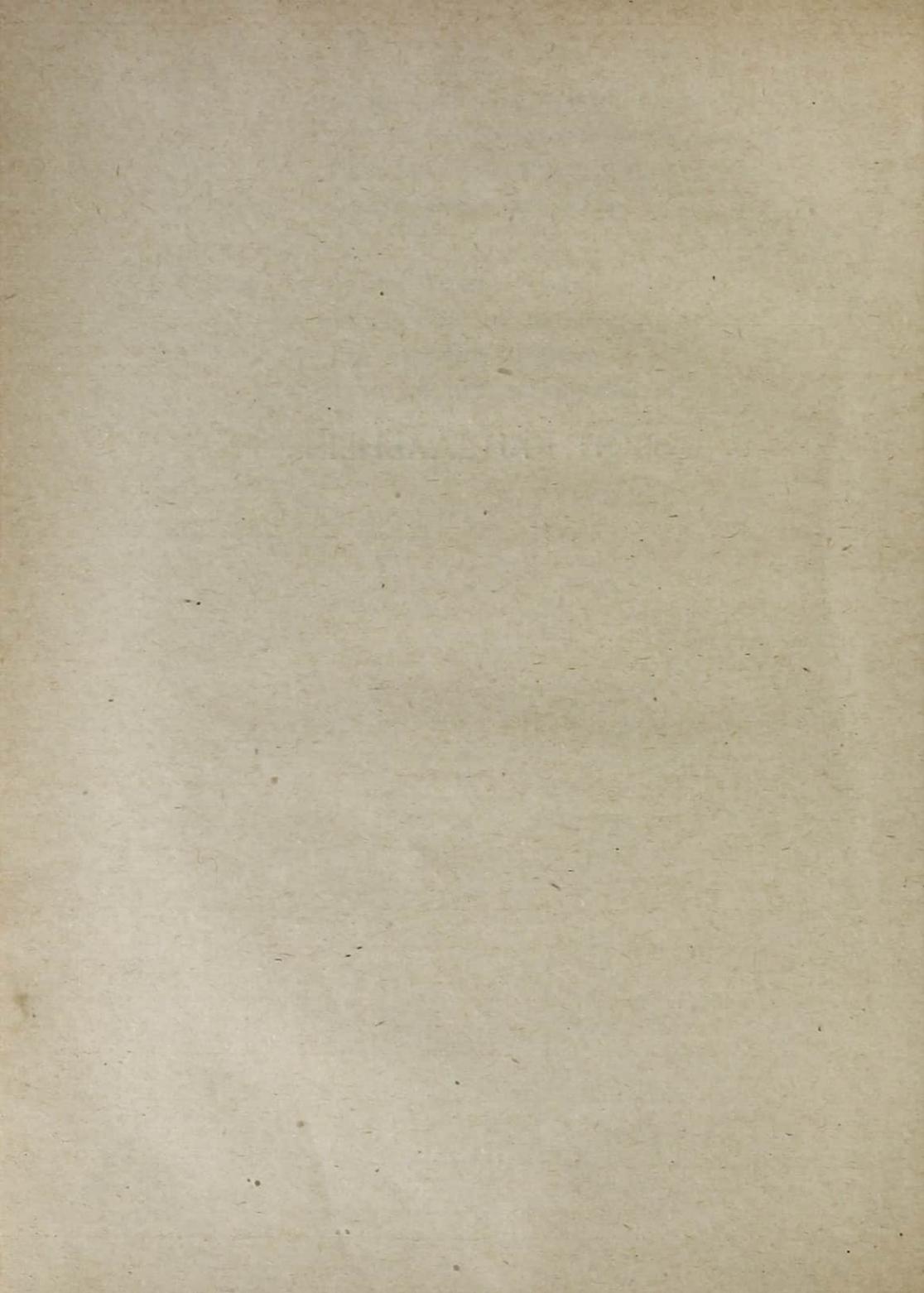
Солидарность спайки братской
Привела его к тому,
Что работая во ткацкой,
Видел в ткацкой он тюрьму.

Общность сил всего чудесней, —
С ней в борьбе все можно взять;
Про нее сложились песни,
Будут песни вековать.

Наша Талка — малоречье
И Дунаем ей не быть,
Но дунаевские речи
Нам на ней не позабыть!

1935 г.

ЗВОН КАНДАЛЬНЫЙ



ПЕРЕД ДНЕВКОЙ

Под музыку обгонных троек
Нас гонят... Нынче много их...
Но путь наш скучен, тяжело-горек,
Веселья нет у молодых.

Под музыку большой дороги,
С летящим бойким перезвоном,
Идем мы, сбивая ноги,
Сопровождаем боль их стоном.

С „железом“ первая подвода,
С полуживыми позади
Идет... Бушует непогода...
Заря дней лучших впереди...

Не слаще нашего конвою!
А завтра праздник у солдат.
Конвой, внимая вьюги вою,
И рождеству совсем не рад.

И нас не тешит завтра дневка:
С ней не умолкнет звон цепей.
Нам убежать не даст винтовка
И в праздник наших сторожей.

Под музыку большой дороги,
С летящим бойким перезвоном,
Идем мы, сбивая ноги,
Сопровождаем боль их стоном.

1908 г.

В „ВОСЬМЕРКЕ“

Нас в „восьмерке“ — ровно сорок,
Каждый день ведут нам счет,
День тюремный нуден, долог,
А в окошках — переплет,

За стеной кричит смотритель,
Злобно лают сторожа...
Из угла глядит Спаситель,
Раны сердца обнажа.

Звон ключей. Опять к допросу
Кто-нибудь сейчас пойдет,
А сосед от нар занозу
Вынимает и клянет.

Не допрос, а нам по булке
Принесли — „за упокой“.
Было б лучше — по писульке
От „своих“, от дорогой.

1912 г.

ОДИНОЧЕСТВО

Я один. Свои ушли.
Ночь, что враг, — посылая.
Светлый край давно вдали...
Даль — родная, милая!..

Там и крошечка моя...
Я же здесь изгнанником,
И не скоро буду я
Сердца верным данником.

Я не скоро утолю
Жажду сердца бедного.
Я пошлю домой — „люблю“,
Буду ждать ответного.

Ну, а если да сама
Прикатит... Ведь с милою
Будет легче ночи тьма, —
Разгоню посылаю.

У меня в руках она,
Светлая, веселая...
Грезы меркнут... У окна
Ночь стоит тяжелая.

Колокольчик... Тройка мчит,
Мимо мчит прогонная.
Сердце бедное томит:
Извела ночь темная.

1909 г.

ПЬЯНИЦА

Месяц светлый, что соколик,
По небу гуляет.
Наш учитель, алкоголик,
По селу блуждает.

Выпил он, да недоволен, —
Думает добавить,
И сегодня все село он
Обойдет, ославит.

Он ко мне в уединенье,
Как всегда, заглянет;
Светлой юности стремленье
Горячо помянет.

Душу выплachtet слезою,
Выкричится в вопле...
Скажет: „Мы найдем стезею,
А в грязи утопли!

И к сокровищницам духа
Мы уж непричастны;
Тем, что здесь все дико, глухо,
Глубоко несчастны!

Но и здесь, и в царстве ночи,
Есть кой-что отрадой...“
Улыбнется... И закончит
Речь свою бравадой:

„Край наш снежных бурь, заносов,
Но одно в нем свято:
Через него ведь Ломоносов
Проходил когда-то!..“

1909 г.

ОНИ УШЛИ

Они ушли от пут насилья.
Напрасно здесь их стерегли.
Они умчались, — словно крылья
У них на время отросли.

Они ушли. Им — юным, вольным, —
Нельзя здесь было усидеть,
Когда по всем путям окольным
Все начинало жить и петь.

И долго вслед за беглецами
Мы повторяли радость дня:
Они ушли, ушли кремнями,
Всю ценность духа сохраняя.

Они ушли. И как им, вольным,
От нас, безвольных, не уйти,
Когда по всем путям окольным
Все начинало петь, цвести.

1908 г.

В КРЫЛАТКЕ

Чернолесье пожелтело
Красный лес, как был, — стоит;
Вдаль уверенно и смело
Птица стаями летит.

На свободе без оглядки
Можно ей и мчать и петь.
Ну, а мне в моей крылатке —
Далеко не улететь.

1909 г.

ЛЕТОМ

Не томит меня чужбина,
Скука зимняя избы:
На восьмой версте — малина,
На седьмой версте — грибы.

Нынче кузов из бересты
Я набрал через края.
Под сосною у погоста
Отдохнуть задумал я.

Растянулся так, как буду
Я лежать потом в гробу.
Вместо венчика покуда
У меня — комар на лбу.

1910 г.

ОХОТА

Птицы в сельгах не поют,
Не цветут поляны,
А ночуют да днюют
Сизые туманы.

Нет туманов — дождь идет:
Окладной, недельный:
Затомился наш народ
Скукою постельной.

Надоело нам лежать,
Залежались лыжи...
„Эх, пора бы погонять
По лисице рыжей“...

Любят наши егеря
Помечтать, подумать,
Что здесь всякого зверья,
Всякой дичи — уйма.

А мечта — ружье иметь —
Плод опасной страсти,
На нее давно запрет
Наложили власти.

Но по ссыльным-смельчакам
Введена охота,
Здесь урядникам, шпикам
Есть с ружьем работа.

За побег бить смельчака
Нет для них запрета,
У урядника, шпика
Есть закон на это.

1908 г.

ВОСПОМИНАНИЕ

Умер товарищ внезапно,
Лучший наш друг по борьбе,
Умер на дневке, в этапной,
В старой крестьянской избе.

Бремя пути с арестанта,
Смерть без приказа сняла,
Тихо конвоя команда
От мертвеца отошла.

Лишь шутником конвоиром
С грустью твердится одно:
„Нынче здесь смерть командиром —
Можно держаться вольно“.

В женской в слезах вся, в тревоге,
Ходят все около той,
Что по проклятой дороге
Шла за покойным сестрой.

Весть о случившемся с нами
Все облетела село,
И населенье друзьями
К нам, как к своим, потекло.

Бабы этап обступили,
Слезы и вой у бабья;
Дело забот о могиле
Взяли они на себя.

Все — от лаптей до рубашки,
Гроб притащили они...
Так новгородские Вашки ¹
Жили в проклятые дни.

Вспомнил я веча миршину,
Чем тут жил в прошлом народ...
Вот что, какую картину
Память моя бережет.

1908 г.

МОИ РАЗДУМЬЯ

Карелия — страна озер, лесных очарований.
В цепи пропащих мест — убогое звено.
А край когда-то был уделом изысканий,
И Петр здесь думал прорубить окно.
Размах Петра пришелся не по силам
Его наследникам, в стране царила мгла.
И косность царская в зачатьи погубила
Петрозаводска славные дела.
Петрозаводск утратил всякое значение,
В нем нету никакого роста, широты,
Лишь гонят без конца в его „распоряженье“
Людей борьбы, идеи и мечты.
С любовью, радостью, с высокою приязнью
Не ценят здесь природы красоту,
Ее хозяева живут бессильем и боязнью,
Боясь переступить оседлости черту.
Среди своих меня пугают пережитки
Мещанской суеты неотметенных зол,
Мечтают об амнистиях, о сроках, скидке,
Как будто может дать их царский произвол.
А конь самодержавья вздыблен,
Как никогда, грозит все подавить собой,
И расправляется палач Столыпин
С рабочим фабрики, с крестьянской голытьбой.

1908 г.

В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

Цепи, что ноги сковали,
Цепи, что ноги томят,
Песню тоски и печали
Снова запели, гремят...
Ноги оков не выносят,
Бледные люди скорбят...
Слабых немногих подвозят,
„Вещи“ в санях их теснят.
Холодно. Пешие скоро
Будут подплясывать, стыть...
Холодом окрик надзора
Будет несчастных томить.
— Лучше бы петля, удавка...—
Злобно одни говорят.
Вот и селение... лавка...
— Что кому надо? — кричат.
В селах кандалыщиков любят.
Бабы, их встретив, взгрустнут...
„Вечные“ — брови насупят,
„Срочные“ — тяжело вздохнут.

1908 г.

ОЛОЧАНКА

(Романтика Севера)

О ней давно мы сговорились:
Не по селу ее краса,
Что олочанкой бы пленились
Там, где теплее небеса.
А здесь круг жизни олочанки
Уродлив, больше чем нелеп:
Она трудится спозаранку
И за сдин лишь черный хлеб.
А зубы белые — березник,
И все в ней сила, красота...
Я знаю, кто ее любезник
И кто из нас — ее мечта.
Но ей о милом и желанном
Лишь помечтать здесь суждено.
Есть слух в селе: с ее романом
Покончить быстро решено.
Ей прочат лавочницы долю.
Жених — старик, но он богат,
И отдадут ее в неволю,
Что злее нашей во сто крат.
Но мы в конец ее романа
Такой вставляем эпилог:
Есть разработанного плана
Побега несколько дорог.

ЭТАП

Идет этап... Как день весны
Мы встретили его:
Вестей с родимой стороны
Мы ждали от него.
Что в нем, нейдут ли земляки?..
Знакомых нет ли в нем?..
И, как всегда, конвой в штыки
Нас встретил,— был врагом.
В досаду вылился восторг,
Желанье близких встреч...
И шел с солдатами наш торг,
Держали к ним мы речь.
На языке кавказских гор
Спросил своих грузин.
Ответа нет... А с давних пор
Он „вечник“ здесь, один...
Я не сводил с кавказца глаз:
Он внутренне рыдал,
И с той поры его Кавказ
Мне как-то ближе стал.

1908 г.

В ПОРУ СТОЛЫПИНСКИХ ГАЛСТУКОВ ¹

Был полдень. Май. Горланил лес,
Все радо было полуденку;
А он решил пойти на экс,
Ограбить мелкую лавчонку.

И в день, когда цвела земля,
Все было солнышком согрето,
При эксе взял он три рубля,
И был повешен он за это.

Как саван на живую нитку
Шьют, так собирали эшафот,
Не знал в суде, как милость, скидку
Царя, Столыпина оплот.

На эшафотах легкой сборки
В час ранний доброго утра
За галстук брали по пятерке,—
Такие были мастера!..

О, реки крови! слез моря!..
Чего-чего о вас не вспомнишь:
Росла причина царя,
И подрастал еще цареныш..

НОВИЧКИ ПРИШЛИ

Ожилося село,
Ожили новости:
Ссылных пятеро пришло,
Будут жить здесь, в волости.
Кто? Откуда? Срок какой?
Мы узнать спешили...
Новички одной семьей
В ссылку угодили.
Из-под Киева семья —
Дид, четыре сына...
Удивляют их края,
Быт северянина.
Тощи севера волю,
Много мошек, гада,
У овец хвосты малы,
А лесов — громада.
Северян дивит покроем
Их штанов, как юбок,
И дивит их дым большой
От пяти их трубок.
Примитивность северян
И наивность юга,
Как убожества крестьян,
Здесь нашли друг друга.

1908 г.

ВЬЮГА

Что-то много непогожих
Дней метельных, как шальных,
Нет давно гостей „прохожих“,¹
Задержала вьюга их.

Гости — „общества подонки“
Забавляют нас зимой:
Их рассказы, побасенки —
Наш театр передвижной.

Хороши, всегда в ударе,
Врут и в прозе и в стихах.
Вьюга в их репертуаре —
Две-три басни о чертях.

Если вьюга долго злится,
То они нам говорят:
— Это в-третьи чорт жениться
Вздумал, бесится и ад..

А когда и как впервые
Он женился, не слышать..
И кому здесь в дни такие,
Как не чорту, пировать.

1908 г.

ТОВАРИЩ БУЯНКА

Слышишь, товарищ мой милый,
Волки к селу подошли,
С лютой звериною силой
Песню свою завели.

Остерегайся, Буянка,
Зверя набегов лихих:
Наша с тобой здесь лежанка
Лучше шатаний ночных.

Мы на лежанке ночами
Будем с тобой почивать,
Будем ложиться друзьями,
Будем друзьями вставать.

Утром, когда встану к чаю,
Я тебе хлебушка дам,
Как-нибудь волчью-то стаю
Мы обойдем по ночам.

С волками ты ведь не воин,
Где тебе, дружба моя!..
Спит мой товарищ, покоен,
Рядышком лягу и я.

1908 г.

ДОМОЙ

Я свободен. Путь мой весел,
Весельчак ямщик попал,
Под дугою он подвесил
Бубенцы, как подобрал.

Горячат, бодрят, ласкают..
Кони пляшут, а не мчат,
Словно радость мою знают
Подогреть ее хотят.

Слышно, кто-то едет встречный.
Потянулся я вперед.
Мой ямщик, вздохнув сердечно,
Говорит: „Этап идет“.

Подъезжаем мы к этапу.
Много сменщиков идет.
Вижу — кто-то поднял шляпу,
Я ответил в свой черед.

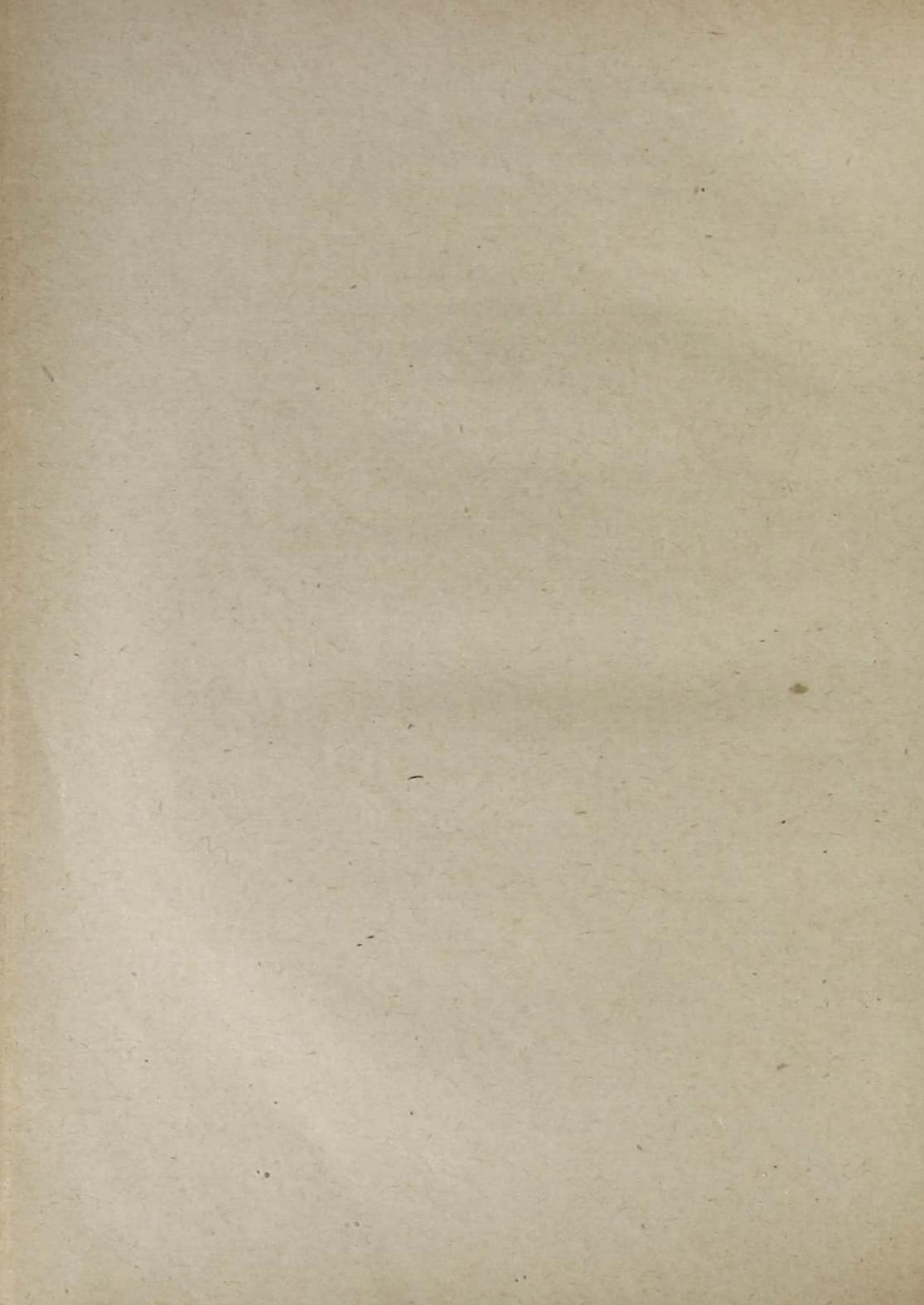
Улыбнулся лаской кто-то..
Вспомнил: это наш „Гааз“,
Что всегда с большой заботой
Собирал в этапы нас.

А теперь и сам в дороге,
Но и здесь, конечно, он
О товарищах в тревоге...
Весь в заботы погружен.

У меня раздумье: как-то
Встретят дома? А пока —
Хороша дорога тракта!
Хороша речь ямщика!

1911 г.

ГОДЫ ВОЙНЫ



ВОЙНА

1

Вопят трензель, балалайки,
Бубен, пьяненький кадык;
Вопит баба в полушалке
На отчаянный язык.

— Ну, какой ты ополченец —
Тихий, робкий, как овца.
Замордует тебя немец,
Нас оставит без отца.

И к солдатику на шею
Баба бросилась, визжит:
— Дай в последние согрею... —
Еще пуще голосит.

Вопят трензель, балалайки:
Пей, воюй и не тужи!...
А бабенке в полушалке
Это по сердцу ножи.

2

Пушками землю вспахали
Пушки ее взборонили,

Лютое семя из стали
Севом в нее заложили.

Близятся всходы посева
С нивы, вспоенной скорбями:
Надо ждать мести и гнева,
Схваток, расправы с царями.

Тот, кто с богами, с святыми
Начал работу убою,
Не заработает имя,
Славы в веках как героя.

Тот, кто упрочил войною
Силу свою властелина,
Будет подавлен враждою
Матери павшего сына.

Тот, кто в войне видит средство
Быть повелителем мира,
Памятен будет невестам
Кровью безумного пира.

1915 г.

В УЛИЦЕ

Средь городских костюмов модного покроя
Сермяжное рунье должны мы отмечать:
В нем жены, матери страдающих героев
Мужей и сыновей приходят навещать.

Дни проходят здесь с пытливыми очами,
Согбенные под ситцевым мешком...
Дорогу—женщине с котомкой за плечами!
Дорогу—истине, что шествует пешком!.

1916 г.

СИВЕРКА

Со сторонюшки немшоной
Дует сиверка лихая.
Над деревней, занесенной
Снегом, ночь стоит глухая.

Огоньки в деревне мутны:
Знать опять палят лучину.
Избы тесны, неудобны...
Коротают в них кручину.

То солдатка... Ей не спится,
Извелась болями сердца:
Нет хозяина-кормильца,
Нет хозяина-радельца.

То вдова, с большой охапкой
Детворы, полунагая...
У нее в избенке зябко...
Дует сиверка лихая.

1915 г.

КРОВАВАЯ ДАТА

(1915 г.—10 (23) августа)

1

В этот день на кровавом посту
Слуги царские злобой кипели,
Приложились к ружью, как к кресту,
От безумья и крови пьянели.

В этот день, кто всего претерпел,
Знал и ведал и цепи, и плети,
Видал, как за участие в толпе,
Под обстрелом метались дети.

В этот день рассмотрели одни,
Как ценили другие жизнь нашу,
И поверившим в светлые дни
Подносили кровавую чашу.

В этот день палачи-молодцы
Перевязывать ран не давали...
Горько плакали наши отцы,
Наши матери тяжко рыдали.

2

Лысый командир и прапорщик безусый
В стороне от бойни мировой,
Здесь, в тылу, работали как трусы,
Прятались в щетине штыковой.

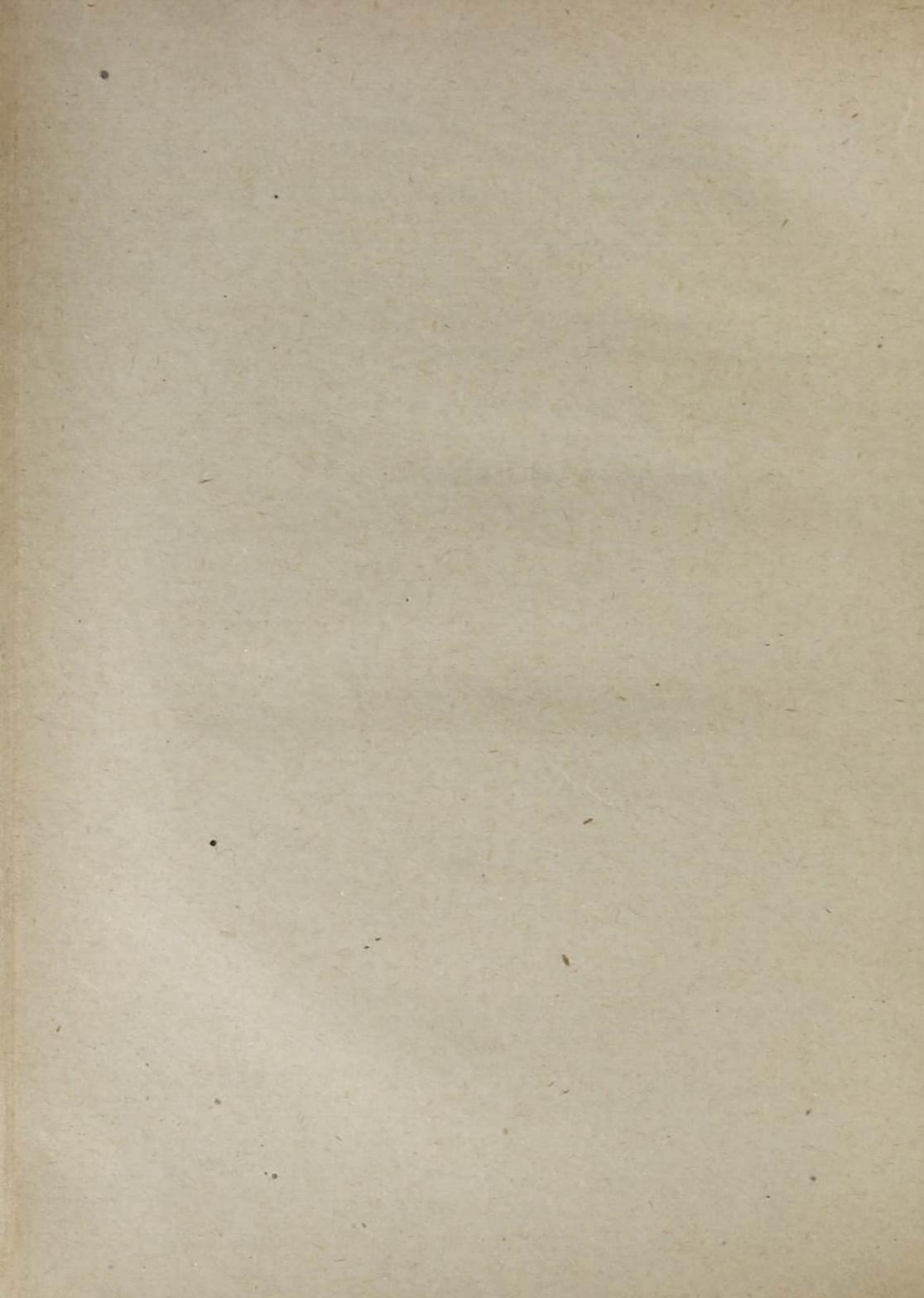
На мосту они, Приказном, старом,
Приказали:—Расстреляйте эту мразь!
Чтоб рабочих бунт не сделался пожаром,
Пыль взмесите в кровяную грязь!..

Залп толпу, ее живую гущу,
Пронизал — и смертью разрядил...
И палач потом ругался в душу,
Что „товарищей“ так мало положил.

Но возвратными сказались вражьи пули:
Август выпустил их к ночи на заре,
А вернулись одни из них — в Июле,
Остальные — в буйном Октябре.

1920 г.

КРАСНАЯ ВЕСНА



КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

В царстве красных флагов, радостного крика,
Торжества, что пало зло родной страны,
Расцвела привольно красная гвоздика,
Граждане дождались и ее весны.

И она свободна, пали ее цепи!
Как идет цветочек к милому лицу
Грустной дамы в длинном-длинном черном крепе,
В трауре по брату, павшему борцу...

Красная гвоздика выросла в подполье,
А теперь на воле — всем родной цветок.
Ей окрепнуть надо, и весны приволье
Даст ей эту силу, даст ей нужный сок.

Красная гвоздика у меня в петлице.
К сединам, быть может, и нейдет она,
Но уж дни такие, — мы вольны, как птицы,
Всех нас подбодрила красная весна.

Весна 1917 г.

ЗНАМЯ

Оторачивают девки
Красный флаг из кумача;
Завтра будет он на древке
Красным знаменем ткача.

Древко красится парнями
В цвет зазорный полотна:
Не боятся, что шпиками
Снег утопан у окна.

Занавешено морозцем
Боковушное окно.
А кто будет знаменосцем,—
Бросить жребий решено.

1917 г.

СТАРИК

— Ты куда, старик? Пора бы —
На кладбище, под кресты...
— Да, родимый, стал я слабый, —
Да и молод, вижу, ты...

Ведь и мне здесь есть родное,
Сердцу близкое до слез.
Кабы дело не такое,
Я бы с печки и не слез...

Не товарищ я богатым,
Не угодник господам.
Ждали этого мы в „пятом“,
Крепко дрались, помнишь сам...

А теперь, смотрю, как-будто
Не бывалошнее тут:
Забирают влево круто
И, как видно, не сдадут.

Трех царей изжил, любезный,
А ведь воли ни одной.
Мне не нужен царь небесный.
Я с рабочим, друг, с тобой!..

СВЕТ ЗЕМЛИ

Облазил все небо фонарщик,
Затеplit он звезды ночные.
А я, зорь мятежных запальщик,
Молюсь на деянья земные.

Не строю я на небо лестниц,
Не надо мне рая гарема:
У нас свое солнце и месяц
На стройке земного эдема.

Отрашивать крыльев не мыслим;
Мы руки в труде напрягаем:
Идем к новорадостным числам,
И землю, трудясь, лобызаем.

1921 г.

КРЕМЕНИЙ-САМОЦВЕТ

Урала самоцветные камни
И золото для их оправы,
Вы славились всегда как украшение
Короны царской, скипетра, державы.
Но ты, Урала царство аметистов,
Совсем потускло в тот великий день,
Когда к тебе пришел из края коммунистов
Могучий человек-камень.
Он дошибал врага, что царские устои
Задумал возродить опять.
Его соратники, ткачи-герои,
Умели дома ткать, а в битвах умирать.
Кто этот самоцвет, Урала дивный камень?
Наш незабвенный Фрунзе Михаил,
Разжегший небывалый пламень
Отваги, мужества своих соратных сил.
В таких боях быть могут и камни стертые...
И вот его уж нет с забралом боевым.
Но в памяти его стальной когорты
Он неизменно цел, он стал для нас живым:
В оправе своего великого народа
Нашел он место как пример побед...
Какая редкая кремня порода!
Какой был это дивный самоцвет!

1925 г.

НЕВЕСТА

Через силу
Пришла я
К станку
За навой;
Я дремлю:
Не станком
Занята голова,
Я всю ночь не спала,
Шила флаг боевой,
И на нем вышивала
Свободы слова.
Мать вставала
Ко мне,
Не давала огня,
Все твердила отцу,
Что гублю я
Семью...
Мать не слушал
Отец:
Поощрял он меня,
Улыбаясь,
Глядел
На работу мою.
А потом мать сдалась...
И родные вдвоем

Сторожили меня
У ворот,
У окна...
Говорила я им
За запретным шитьем,
Что объявлена
Будет
Буржуям война,
Что работа мне
Эта
Приданным пойдет,
Что жених у меня
Из героев герой,
Не к венцу,
А на площадь
Меня поведет,
Где развернут им будет
Наш флаг
Боевой.

НЕУЗНАВАЕМАЯ

Все здесь Октябрь овеял новью
От труб, ворот до корпусов;
Разорено орлов гнездовье,
Нет над воротами гербов.

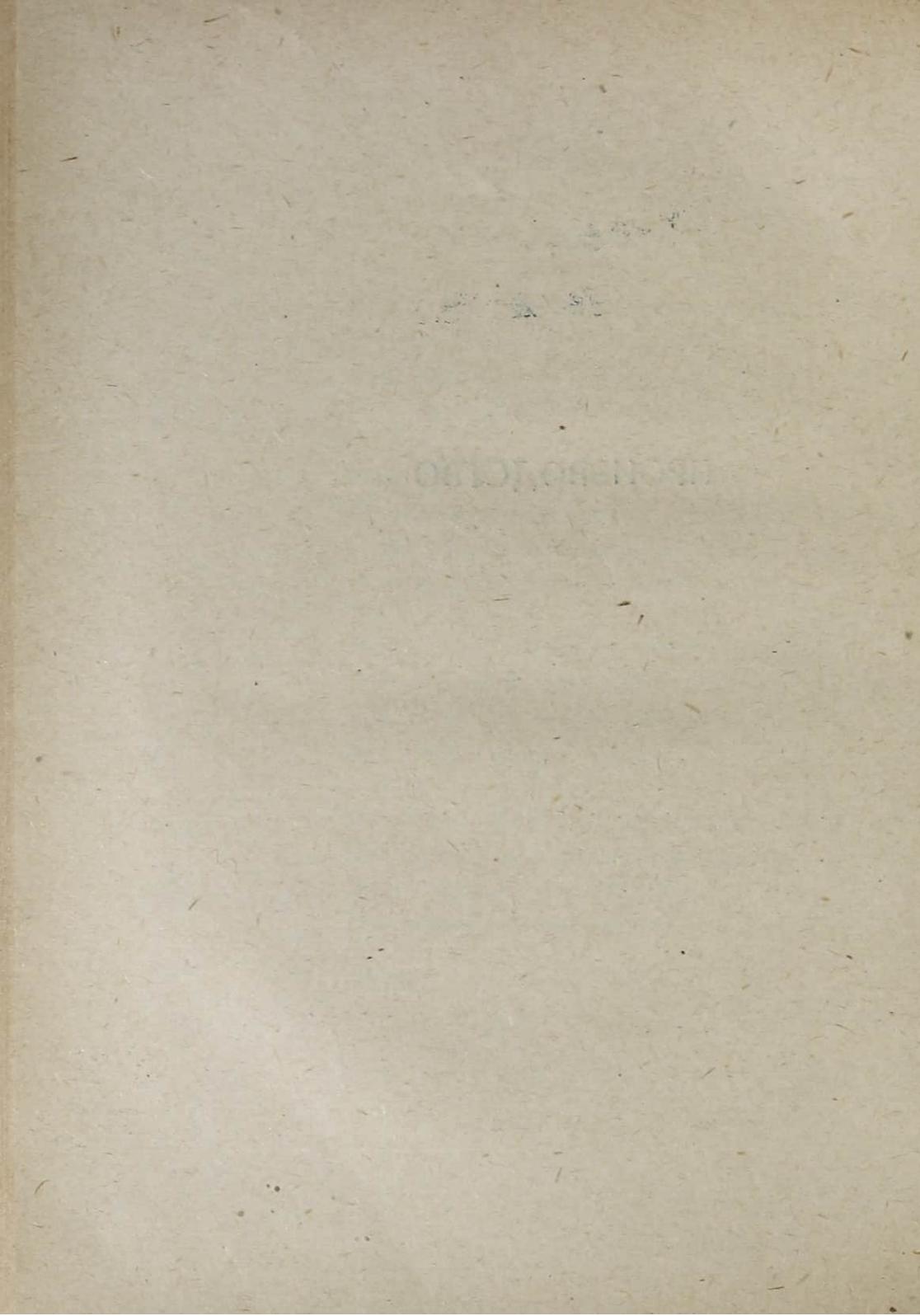
Над ними ярким пятизначьем
Отображен наш новый строй,
И не сгорбясь подходит ткач к ним,
А с приподнятой головой.

Здесь нет, не стало ванн из пота,
Что принимал недавно ткач,
Здесь не томит его работа,
Как понукающий палач.

Не стало прежнего застенка,
Что мысль и чувство так гнетет.
Здесь каждый винтик, шестеренка
Тон новой жизни задает.

1922 г.

ПРОИЗВОДСТВО



„ДИЛЕХТОРША“ МОТЯ

В году мятежном, пятом,
Когда весна цвела,
На Талке депутатом
Она в Совет вошла.

Считалась как оратор,
Во всем передовой,
Ее сам губернатор
Считал за бабу-бой...

Борьбу в рабочем крае
Он измерял по ней...
На Талке Марта в Мае
Была всех горячей.

Но были сплетни, толки,
Напраслина, вранье:
„Дилехторшей“ в поселке
Прославили ее.

Но Мотю как моталку
Не уличишь ни в чем:
Она пришла на Талку
Партийным „Мотыльком“.

Ее партийной клички
Не знали, а была, —

Что с честью большевички
Она уберегла.

Работает и нынче,
Стара, но не брюзжит,
И, помня злоречье
Поселка, говорит:

— С „кареток“¹ нас в карету
Сажает кучера.
Из нас „дилекторш“ нету,
А есть директора.

РАССКАЗ СТАРИКА

Старый ткач на новой фабрике,
Чтоб не сдать, не уступить,
Старый опыт, свои навыки
Хочет к делу приложить.

Говорит: — Я, шалый, сподличал,
Изменил своим станкам:
В дни разрухи жил кусочничал,
По приволжским деревням.

А теперь опять „за парю“
Я стою, коней гоню,
Со своей смекалкой старою
Мыслю взять и „четверню“.

Хорошо, не побывалошни
Подмастерья мастерят,
А ткачихи — словно барышни
С головы до самых пят.

И все эти Тоси, Ньюшеньки
Выполняют промфинплан...
Прожужжали все мне ушеньки:
— Подтянися, старикан!..

Подтянусь: не хамы-ироды
Управляют стариком,

Понимаю свои выгоды,
Быть хозяином-ткачом.

Не хочу прослыть негодником...
Да и фабрика — „Отца“:¹
Я ведь сам рачил² с покойником
У Бурылина-купца.

Хорошо „Отца“ я помню,
Помню вечер октября,
Черносотенную бойню
В честь кровавого царя.

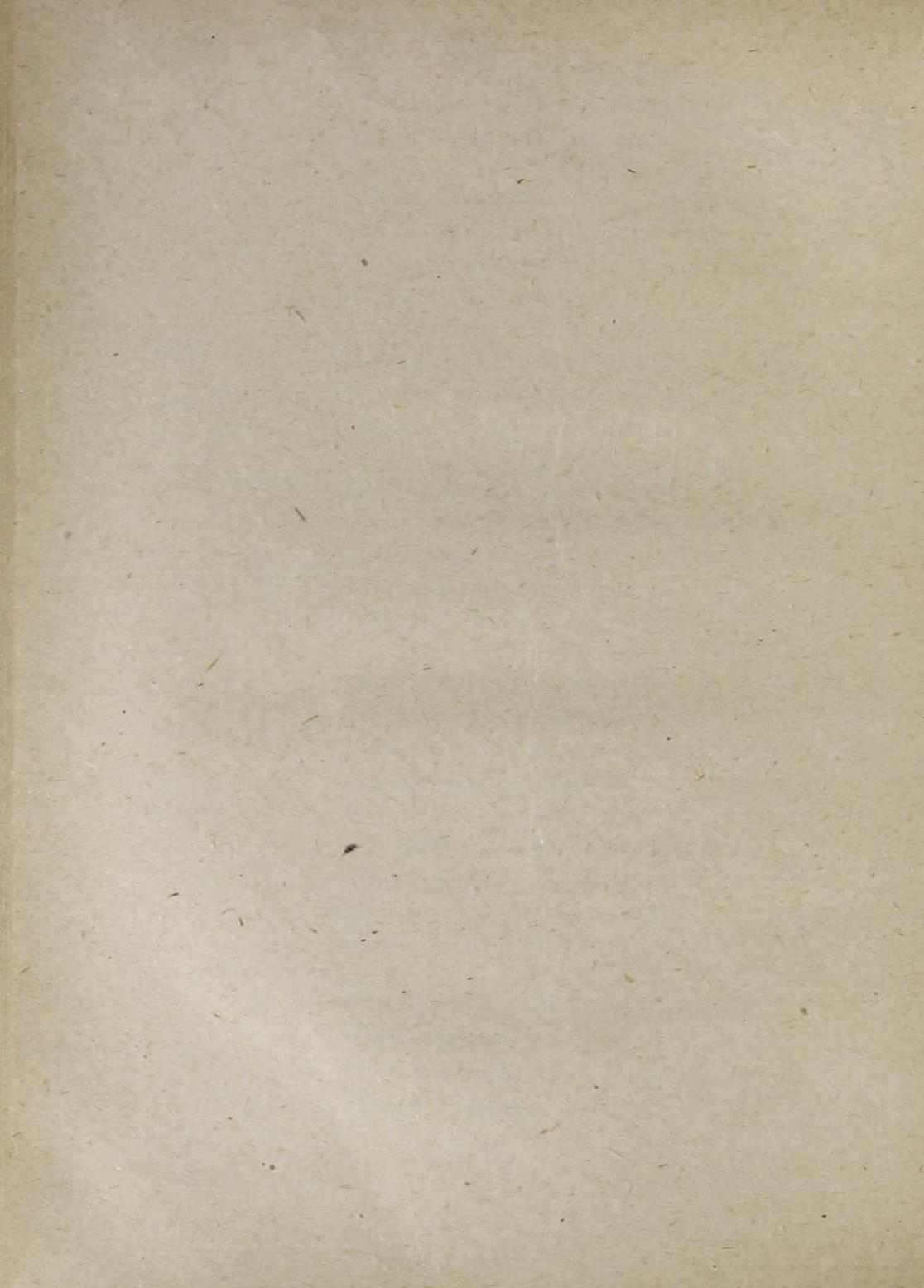
Да! В тот вечер дня ненастного
Пали многие ткачи,
И до Феди Афанасьева
Добрались палачи.

Злая сила ухайдакала —
Не ушел он от зверья...
Помню: баба моя плакала,
Скрежетал зубами я!..

Не забыто, что им сказано:
Будет время то, придет,
Что для фабрики хозяина
Сам рабочий призовет.

И сбылось: „сварили шарики“,³
Фабрикантом стал свой брат,
И в его руках все фабрики
Пуше прежнего дымят!..

СТАРАЯ И НОВАЯ ДЕРЕВНЯ



БЕСПОМОЩНЫЕ

Спи родная, спи беспомощной,
Я тебя тепло закутаю!..
Дай одной подумать вволюшку
Над твоей болезнью лютою.
Не могу взять в толк я, бедная,
Что за дни пришли несчастные?
То в знобу ты, то каленая, —
Помутились очи ясные.
Отчего, моя ты доченька,
К вешним дням так обессилела?
Как цветок повяла осенью,
Словно птичка обескрылела.
Бредишь ты. В бреде не радуешь,
Ни словечка утешения,
Запугали меня, горькую,
Твои страшные видения.
К лекарям не раз толкалася,
Их искавши сбила ноженьки.
Обещали, дочка, выехать,
Да знать нет для них дороженьки.
Не свое дитя... им плакаться
Нет нужды по нам из жалости,
Им от нас-то взять ведь нечего.
К нам дорога — путь не к старосте.

Спи, родная, спи беспомощной,
Я тепло тебя закутаю!..
И сама я занедужила
Знать твоей болезнью лютою!..

1897 г.

О ЗЛОПОЛУЧНОМ КЛИМЕ

Долго Клим вчера искал
Выпить полбутылки,
На последние гулял —
Выпил у бобылки.

А сегодня самого
Все село искало,
Где-то бедного его
Вьюгой затрепало.

Заглянули люди в лес,
Обошли овраги:
Без следа мужик исчез,
Нет нигде миляги.

Вьюга нынче еще злей,
Пуще разгулялась...
У пропавшего детей
Восемь душ осталось.

1908 г.

НЕВЕСТА

На селе невесту
Девки расхвалили,
От души, от сердца
Счастья насулили.

Платья подвенечного
Цвет всем бабам нравится,
И невестой счастливой
Свахи не нахвалятся.

Но невеста плачется:
Что-то есть сердечное,
Что её не радует
Платье подвенечное.

Знать милей ей волюшка
Девичья, подругина,
Знать семьи неволюшкой
Девушка запугана.

НА СУДЕ

Богородицын день. Убралися в полях,
Праздник весело, сытно справляли,
С новым хлебом на первых порах,
О нужде говорить перестали.

А в деревне — нужда с недородных годов
Здесь считалась гостьей давнишней,
Только в деле попов да среди кабаков
Богородицын день был не лишней.

В богородицын день погостить к старикам
Гость пожаловал, внук из столицы...
На гулянке он был молодец-молодцом —
Загляделись на парня девицы.

В чем-то гость-питеряк во хмелю, вгорячах
Деревенским парням не уважил,
Окровавил он финку в гостях,
Старикам и себе „дело“ нажил.

Был судим... Виноват больше всех
Оказался день праздничный, пьяный,
Что попутал виновного грех —
Нож подсунул ему окаянный.

Улыбались судьи в цепях золотых
На мужицкое слово простое;
Это было в привычке у них,
Долгой практикой их нажитое.

„Видит бог“... „да по-божьи сказать“...
На суде мужики повторяли;
А виновного в цепи пришлось заковать,
Судьи цепи свои оправдали.¹

1906 г.

В КАРЕЛЬСКОЙ ИЗБЕ

Привернут фигасик, чуть-чуть
Печально и тускло мерцает,
И не на что в хате взглянуть,
Где жизнь двух старух догорает.

Какая тут жизнь! Полусон,
Без грез, без мечты, без наитий,
Где слышен лишь шум веретен,
Пряденье двух сереньких нитей.

Не хвалят старухи кудель,
Не видно в них прежних работниц...
За окнами воеет метель,
Как видит в них близких покойниц.

Их заживо хочет отпеть...
И слышится в вое метели:
На саван, на петлю, на плетъ
Здесь нити сучат из кудели.

1908 г.

НА НОВИ

Красуются земли
Знакомые рельефы,
Что были в пору скифов
Той же красоты,
Как в годы Китежа,
Келейницы Манефы,
Как в годы первые
Колхозной пахоты.
Машины на полях,
А тот же вид пейзажа,
Где решено
По-новому осесть,
Где человеку нови,
Трудового стажа —
Почет,
Внимание,
Хозяйственная честь.
А враг, отброшенный
Рабочей беднотою,
Из-за угла,
Как можно только,
Мстит:
Он скифов мудростью,
Манефы темнотою
Намерен отстоять

Звериный,
Старый быт.
Но можно ли вернуть
К покорности,
К обьедкам
Познавшего
Могучей воли суть?..
Опоздано:
К великим пятилеткам
Врагам
Не опозорить
Коллективный путь.
Их руки коротки
И зубы редки,
Чтоб задушить
Их трудовую новь,
Когда взялись
За дело пятилетки
От сердца,
От души,
По-братски, —
За любовь!..
Где воле коллективной
Нет износа:
Она на спайке общности
Тверда...
И вести добрые идут
С полей,
С покоса...
Да здравствует победа
Нового труда!..

ВТОРАЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ

Давайте
Побеседуем о том,
Как бесится
На Западе
Звериная порода;
А у живущих
Раньше
Спячкой и кнутом,
Стоит
Великолепная погода.
Работают,
Работе не мешает
Пономарь;
Набили по шеям
Поганому буржую;
Перекроили
Старый календарь,
Переключились
На весну вторую.
Вторая,
Большевистская весна
Не небылица
Сказочная в лицах,
Она по-новому
Красива и красна,

Без песен о цветах
И птицах.
Она одна
Лишь трудовой размах
С молодняком
Бушующе кипучим;
Где МТС
Хозяйствует в полях —
Запахло крепче прежнего
Горючим.
Пусть каркают враги:
„Война большевикам!“
Пусть мастера,
На жалкие подвохи,
Покажут
Еще раз
Бессилие своей
Изношенной эпохи.
Даешь войну!..
Коли такой уж век:
На голубую кровь
Ответим кровью
Алой...
Ведь в деле и таком
Наш
Новый человек
Не кое-что,
А человек бывалый!..

ДЕРЕВНЯ ЗЫБИХА

Потянулась и она
Туда же,
Увидав, колхозов
Всходы.
Умирают
Старые пейзажи
Деревенской
Матери-природы.
Исчезает дом
Под крышею косматой,
Подсоломенная
Грусть-тоска;
Церковушка,
Ее бог распятый,—
Старая „защита“
Мужика.
Исчезают
Голбцы и полати
Место сказок,
Чертовщины, тайн...
У деревни Зыбихи —
На гумнах ароматы,
Новою пшеницею
Пропах ее комбайн.

ХОРОШО!

Хорошо! Поля кругом.
Перепела голос.
Лунный свет. Над васильком
Наклонился колос.

Хорошо! И ты со мной
Близкою, желанной,
Озаренная луной,
Ночью осиянной.

Хорошо! И так, что я
Слышу счастья зовы..
Надо думать, нас поля
Повенчать готовы.

У КОСТРА

Пляс, баяны у костра
Женщины разряжены;
Песни радости земли
Хорошо налажены.

Загулял колхозный люд
Из села Заречного,
Захотел он отдохнуть
У костра потешного.

Через теплину старик
Прыгает, задорится,
Говорит: пришел черед
Мне похороводиться.

То, что живо в старике,
Весь колхоз утешило...
Мать-природа, посмотри,
Как в колхозе весело!..

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Закудаhtал трактор
На колхозном поле.
Радость-то какая
В нашем комсомоле!..

Слышно: ох, как важен
Новый наш товарищ!
С этим черномазым
Пахоту наладишь...

Все заговорили
О машинной вспашке,
Есть чем бить, и крепко,
По кулацкой бражке.

У соседей в поле—
Те же разговоры,
И они решили
Заводить моторы.

Надо к ним свой опыт
Поскорее двинуть;
Не давать горячей
Мысли их остынуть.

Чтоб соседи наши
Шли в одной шеренге,

Не жили в утробу,
По-кулацки в деньги.

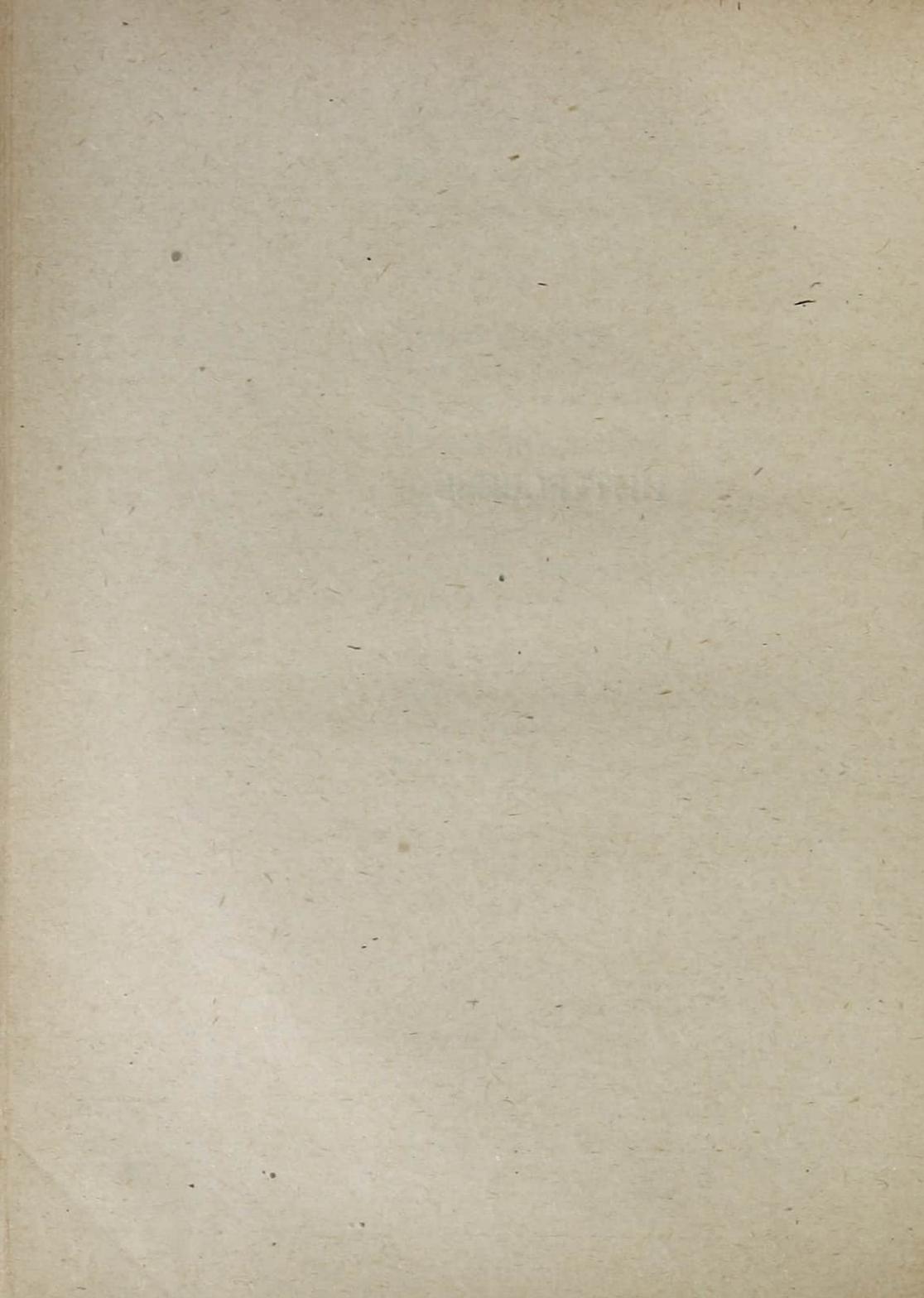
Мы не зря колхозу
Дали имя „Молот“,
Пусть он нагоняет
Силе вражьей холод.

Кулака бьет крепко
Наш стальной оратор,
Подаренный МОПРОМ¹
Неустанный трактор.

Мы себя связали
С узниками тюрем,
Что идут навстречу
Революций бурям.

Чтоб у всех народов
Было все единым,
Чтобы всем подняться
К Октября вершинам,

ИНТЕРСВЯЗЬ



В ДОЛИНЕ ТАЛКИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

• И. А. Тессельману

В долине Талки вырос дом,
Все необычно, ново в нем.

Где мировой рабочий класс
Объединил детей всех рас.

Где из-под солнца всех широт
Я видел маленьких сирот.

С поработанных островов,
С цветущих Ганга берегов;

Из запрещенных стран для тех,
Кому был дорог Карл Либкнехт;

Кто славил Розу Люксембург,
Кому наш Ленин, Сталин друг.

В долине Талки день за днем
Твердит питомцам детский дом:

Что не сегодня—завтра им
Лежит дорога в Лондон, в Рим,

В Чикаго, Бейпин, Будапешт,
В края поруганных надежд,

Отцовских дум, отцовских грез,
Чтоб вновь поднять там бурю гроз.

Кто зодчий? Кто детдом воздвиг?
Наш ткач, наш старый большевик.

Кто верил в помощь братских сил,
Стоял за МОПР, за красный тыл.

Болея за участь малышей,
Как жертв отцовых палачей.

На призывную МОПРа речь:
Отозвались: Свердловск и Керчь;

Москва, Майкоп, сосед Ковров,
Ряд зарубежных городов..

За комбинатом комбинат
Слал в фонд постройки силикат;

Со всех концов страны текло:
Железо, дерево, стекло.

Работу направлял контроль
Тех, кто построил Белморстрой...

При братской помощи во всем
В долине Талки вырос дом.

И в пятом, в пору битв на ней,
Был дом без окон, без дверей,

Неизмеримых измерений,
Что создал наш рабочий гений,

Где вырос первый наш Совет
И вольных знаний факультет.

Социализм читали в нем:
Товарищ Бубнов—наш нарком.

Всегда одетый скромно, в блузе
Блистал на кафедре сам Фрунзе.

Входил в профессорский состав:
Подвойский, Салов Станислав.

Был ряд таких профессоров:
Дунаев, Лакин, Балашов.

Встает вопрос, что этот дом
Не предрешен ли был в былом,

Что он в местах боев возник
Как память их, как большевик.

Фронтиспис дома из писем,
Глава поэмы из поэм..

Дом Е. Д. Стасовой... Ему
Дан этот титул потому,

Что Е. Д. Стасова с ткачом
Давно прославилась родством.

В чьей жизни тридцать пять годов
Ушло на путь большевиков;

На путь тюрьмы, тюремных зол,
На клятву—сбросить произвол.

И пусть живет ее путем
В долине Талки детский дом.

1933 г.

НЕГР

Я сидел
В президиуме рядом
С негром
Штата Алабамы..
Мой сосед,
Увлечшийся докладом,
Мне казалось:
Ищет
Переводчика глазами..
Видел я,
Что поиски его —
Напрасны,
Но сосед мой
Этим не смущался..
Видимо,
Победы наши
Были ему ясны:
Он все шире,
Мягче улыбался.
Говорила мне
Его фигура:
Негру дома
Нечего терять,
Здесь его защита —
Наша диктатура,

Что она ему роднее,
Ближе,
Чем его
Родная мать.
Если перевод
И нужен был
Пришельцу,
То затем,
Чтоб душу обнажить,
Дать простор
И волю
Пламенному сердцу,
Нас, друзей
И братьев,
Лаской наградить.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

С мопровской полоски
Собрано зерно,
И в другое поле
Брошено оно.

Поле новосева —
Пролетарский клин,
Нашей интересвязи
Сталинских годин.

Помощи-защиты
Жертвам капитала...
Муки наших братьев
Тяжки небывало...

Узники Скоттсборо
Ждут расправы, смерти.
Вспомним, как погибли
Сакко и Ванцетти.

МОЯ ДЕЖУРКА ¹

Я у природы как дежурный
За всем слежу, на все смотрю.
Люблю я дня покров лазурный,
На нем вечернюю зарю.

Моя дежурка—мир громадный.
О, я величие люблю...
И только смерти беспощадной
Свой пост любимый уступлю.

К ИТОГАМ ЖИЗНИ

Когда страна цветет
Она и петь должна,
И радостно поет
Моей страны весна.

Звучания, цветения
Жизнь от одних корней
И в пору возрождения,
И в пору вешних дней.

Страна поет о том,
О чем в былом шептали,
И больше под кнутом
Царя совсем молчали.

Сейчас нельзя молчать,
Не петь в такую пору,
Когда все можно знать,
Жить, подниматься в гору.

Довольно под горой
Я пожил, потомился,
Хоть год—да будет мой,
За жизнь я уцепился.

За семьдесят мне три,
Года—пора итогов,

А у меня внутри
Кипение восторгов.

Я не хочу молчать,
Душою не гореть,
Когда есть что сказать
И есть, о чем мне петь.

1935 г.

ПРИМЕЧАНИЯ К СТИХОТВОРЕНИЯМ

„Смерть ткача“

¹ Местное название куска миткаля.

² „Пример“ в старом производстве при выработке миткаля получался в интересах фабриканта от особой установки ткацкого станка.

„Шпики и пресняки“

¹ Витов и Дербенев — ивановские фабриканты.

² Тимофеев — бравый жандармский полковник, любивший хвастаться своими сыскными талантами.

„Семидесятилетний юбилей большевички“

¹ Тюремное судно.

„Юбилейное“

¹ Написано в 1933 г., в день юбилея, пятидесятилетия со дня рождения поэта А. Н. Благова.

² Глинищево и Ямы — рабочие окраины.

³ Анилин — ядовитое, химическое вещество, входящее в состав красок ситцепечатных фабрик.

„С Уводи на Талку“

¹ С Уводи на Талку, от реки к речонке — путь ивановских ткачей к первому их Совету рабочих депутатов в 1905 году.

„Тридцатилетие“

¹ Самотаски на ситцевых фабриках были одними из самых антигигиенических отделений.

„Воспоминание“

¹ Мотивом к этому стихотворению послужил крест, поставленный жителями села Вашки Новгородской губ. вне кладбища, на могиле татарина, умершего в этапной избе.

Жители села Вашки, не зная мусульманских обрядов, его похоронили по обряду своей церкви, что было весьма показательным явлением в пору национальной травли, чем в то время с ожесточением занималось царское правительство.

„В пору столыпинских галстуков“

¹ В пору столыпинских полевых судов галстуками называли петлю-удавку

„Вьюга“

¹ „Прохожие“ — лжебогомольцы большой дороги Соловки — Валаам, на которой стояло село Коткозеро, место моей ссылки.

„Дилекторша Мотя“

¹ „Каретки“ в старое время называли ткацкие станки, на которых вырабатывались более высокие сорта тканей.

„Рассказ старика“

¹ „Отец“ — вождь ивановских ткачей.

² Местное название работать.

³ Сварили шарики — термин восстановительного периода фабрик.

„На суде“

¹ Это стихотворение написано под впечатлением суда, на котором присутствовал сам автор. Выражение „богородицы день“ и слова „видит бог“, „да по-божьи сказать“ на суде повторялись невероятное количество раз, как-будто судили не человека, а праздничный день.

„Комсомольская“

¹ В 1931 г. в Ковровском районе колхоз имени МОПРа за свою интернациональную работу ЦК МОПР был премирован трактором.

„Моя дежурка“

¹ Это стихотворение, найденное в архиве Брюсова и переписанное его рукой, было напечатано в журнале „Россия“ (1923) как брюсовское. В действительности это одно из ранних стихотворений Ноздрина.

КАК МЫ НАЧИНАЛИ
ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

I

Родом я крестьянин как со стороны отца — крестьянина Шуйского уезда деревни Кочкарово, так и со стороны матери — крестьянки Костромской губернии села Сидоровского.

Родился в 1862 г. 29 октября в с. Иванове, теперешнем Иваново, недавнем Иваново-Вознесенске.

Отец мой по тогдашнему времени был человеком грамотным, служил у мелких местных фабрикантов в качестве ярморочного приказчика и за службу на фабрике у Е. С. Игумнова был награжден на Покровской улице домом, где он и сам пытался открыть „набойное“ дело, но неудачно; умер отец 44 лет, оставив меня по четвертому году.

В семье я был шестым, и к первым заботам моей матери, оставшейся после смерти отца без всяких средств, вскоре прибавилась еще одна забота — надо было ей отдать меня в школу. Уже шести лет очутился я у дьячка Магницкого, обучавшего меня славянскому языку и чистописанию.

В то время такое „духовное“ образование считалось первой необходимостью, и моими однокашниками в этой „школе“ были дети не только простолюдинов, но и крупных торговцев и фабрикантов, как, например, Фокиных, Самохваловых и т. п. К тому же мать моя была старообрядка, и знание духовных книг должна была считать в воспитании своих детей первоочередной задачей. Сама она была женщиной грамотной, помогала мне учить уроки и к довершению всего заставляла меня обращаться с молитвой к покровителю науки святому Науму.

Дьячковское же обучение, в особенности для меня, главным образом сводилось к тому, что я при поступлении к дьячку зимой почему-то все угорал, а когда пришло лето, то начал помогать его дочери искать непутевую корову, никогда не приходившую из стада домой. Дочь его была нечто вроде пастуха, а я ее подпaska, — носил всегда для заарканивания коровы веревку и эта же веревка нередко потом в школе прогуливалась по моей спине, слегка покрытой ситцевой рубашонкой.

Не сладко мне было у дьячка. Только в дни родительских суббот, когда он из церкви приносил целые мешки паточных и медовых пряников

которыми кормил и свою непутевую корову и оделял своих учеников, еще было что-то похожее на то, что могло радовать меня и моих однокашников — детей небогатых родителей.

Но из-под веревки и от пряников мне все-таки пришлось уйти. Надоело мне таскать огромнейший псалтирь, чуть не больше самого ученика. Мать вняла моим жалобам на пастушню и освободила меня от дьячка.

Едва научившись читать по-славянски и кое-как писать, я перехожу в „Земское образцовое училище“ или, тогда говорили, к „отцу Александру“.

Отец Александр Альбицкий как по своей внешности, так и по любовному, чисто отеческому отношению к ученикам был весьма похож на Христа, изображение которого было всегда у нас на глазах в той „священной истории“, по которой мы тогда обучались. С другой стороны, этот наш учитель никогда не укладывался в наших детских понятиях, когда мы видели его курящим, когда мы знали, что он дома играет на рояли, что он с нами не отказывается играть и в лапту, и в бабки. А когда часто после уроков из „священной истории“ он вместе с другими учителями объяснял явления природы при помощи физических приборов, в нас недоуменные вопросы о своем учителе еще больше заострялись и из школы мы уходили с душой, полной брожения, волнующе настроенными.

В эти же годы здесь много говорят о Нечаеве — ивановце.¹ Многим ивановцам стало известно и слово „нигилист“, и мы, подростки, в нем разбираемся и задаем себе вопросы: не обучает ли и нас в школе отец Александр нигилизму? Особенно эта мысль нас волновала после того, как нашего отца Александра отсюда перевели в одну из петербургских тюремных церквей, будто бы за его близость к Нечаеву.

Мое трехлетнее пребывание в этой земской школе было одной из лучших страниц моего детства, несмотря на то, что все, чему нас учили в этой школе, было далеко от жизни. Жизнь нас после школы принимала не по-книжному, по головке не гладила, вместо пушкинских стихов, ставших школьной песенкой:

Птичка божия не знает

Ни заботы, ни труда,

заставляла нас петь иные песни — песни непосильного ярма, невероятно длинного рабочего дня.

Школа учебы и школа жизни рабочего между собой ничем не были связаны. Когда я был по желанию матери отдан в ученики в фабричную граверную мастерскую бр. Борисовых, то в первый же день меня там

встретили вот чем: придя в мастерскую, я не успел снять свой картузишко, как меня тут же окружила целая ватага будущих моих учителей; они начали меня обнюхивать и я услышал реплику: „Пахнет“. В это время один бросается к открытой форточке и заявляет, что и здесь „пахнет“, но пахнет только не с улицы. А другой подвергает меня испытанию, тверд ли я в своем характере, ударяет меня по голове костяшками сложенного кулака и спрашивает: „Больно ли?“

Я готов был расплакаться от боли, но сдержался и заплакал только тогда, когда по дороге домой узнал, что слово „пахнет“ обязывает меня принести своим учителям могоарычный целковый. Отнять у матери последнее? Но, как на грех, этого целкового у матери не оказалось, и на другой день я на фабрику пошел чуть ли не со слезами, боясь новых колотушек и нового обнюхивания.

Так меня встретила фабрика после того, как я уже был знаком с книгой, с театром, совершал со своими сверстниками набег в лес на грибы, на ягоды и с ребятами же занимался и „вольным“ трудом: собирал битое стекло, кости, тряпье и менял их на пряники, которыми меня кормил когда-то первый мой учитель дьячок.

Мне, не умеющему и неспособному рисовать (что значительно усложняет учебу), ремесло гравера давалось плохо, с большим трудом, и я вышел в мастера среднего калибра. Такая роль на фабрике мне улыбалась мало. Но все же к этому я как-то приспособился и тянул фабричную лямку в течение более трех десятков лет.

Фабричная обстановка моих ранних лет далеко не гармонировала даже с моей недостаточной домашней обстановкой. Дома у меня всегда можно было найти книгу, я впервые в семье услышал о деле Нечаева—читали о нем у нас вслух по „Современным известиям“ Гилярова-Платонова,² что разжигало во мне нелюбовь к фабрике еще больше. Я старался от фабрики уйти, поддавался соблазнам скитальческой жизни, готов был разъезжать с труппой актеров, хотя бы в качестве ламповщика, мечтал о роли ярмарочного рашника, готовился к этому, составляя к будущим своим картинам прибауточный текст, что может быть и было первым толчком к моей не совсем удачной литературной деятельности.

К мечтам о скитальчестве прислушивались и мои товарищи, — я около себя создавал протестантов против фабрики. И вот мы, более решительные, втроем, с котомками за плечами и с посохами в руках, очутились на извилистых проселках деревни и на прямых, как стрела, аракчеевских саженых

дорогах, соединяющих города и села тогда еще богомольной, но уже идущей к новой жизни России.

В дороге нам все-таки пришлось между собой размолвиться, и домой мы возвращались все трое поодиночке, пройдя пешком более чем по две тысячи верст.

Чтобы себя легализировать, мы путешествовали под видом странников-богомольцев, перебивали во всех крупных монастырях, что на мне, тогда еще человеке религиозном, отозвалось значительным отходом от церкви, большим душевным надломом. И я, бегущий от фабрики, думал, что жизнь деревень изобилует многими хорошими сторонами жизни, что фабрику на деревню можно променять, но за это время пешего хождения я пришел к убеждению, что везде живется не сладко, что жалобы рабочих и крестьян на свои житейские тяготы одинаковы, горечь жизни пьют они из одного ковша, черпают эту горечь из одного ямника.

Это мое путешествие относится к 1885 г., в августе которого я вернулся домой, а в сентябре этого же года как отголосок знаменитой орехово-зубовской³ забастовки забурлил и наш город многотысячной бунтующей массой рабочих.

Я как безработный тоже вмешался в эту рабочую массу. Не наговорившись досыта во время путешествия с крестьянами, конечно я не молчал с рабочими. Пусть это была не агитация как посланника какой-нибудь организации, все же голос мой здесь звучал в унисон с теми голосами бунтующей массы, у которой со мной был один язык протеста, на котором я еще так недавно говорил со всеми товарищами по путешествию. Ведь и все-то это движение проходило под влиянием прямых действий одиночек, неорганизованно, но все же под знаком настоящего рабочего движения, к которому пришлось примкнуть и мне.

Но такое мое одиночество, настроенное на общественный лад, продолжалось недолго. На нашей „думе“ — горе Покровской,⁴ в этом главном штабе всех мятущихся ивановцев, ищущих и алчущих душ, где можно было всегда разговориться с людьми, совсем неизвестными друг с другом, осенью того же 1885 г. я знакомлюсь с Иваном Осиповичем Слуховским,⁵ в присутствии А. А. Кондратьева (старшего из двух братьев революционеров) держу экзамен-исповедь по религиозным и политическим убеждениям.

Мои экзаменаторы-духовники были со средним образованием, значительно интеллигентнее меня, но все же я после этого экзамена становлюсь близким человеком к их организованному в два человека кружковому ядру

революционной мысли, конспиративных товарищеских отношений и самых крайних радикальных взглядов на литературу.

Кружок наш,⁶ в смысле его численного роста, развивался медленно, но мы так или иначе вели идейную пропаганду, и к 1890 г., когда мы здесь были отысканы народовольцем Спасским-Сабунаевым, объезжавшим в то время с организаторской целью Поволжье, мы своих единомышленников насчитывали десятками. Мы имели большую связь с Шуей, а последняя связывалась и с Владимиром, — члены нашего кружка были и в Шуе и в некоторых деревнях.

Помимо нашего подполья, в это время здесь существовало еще и литературное подполье, в котором группа рабочих, служащих и учащихся издавала рукописный журнал „Первые проблески“, куда и я был приглашен. В качестве „литераторов“ в этой группе были и другие заинтересованные члены нашего кружка. Решено было некоторую часть этих „литераторов“ использовать, вовлечь в нашу работу, что и было сделано, и на ши ряды ими были значительно пополнены. Об этом литературном подполье и будет итти главным образом речь в дальнейшем.

II

В начале 90-х годов, в один прекрасный день, когда на обывательском горизонте ничего не предвещало и вековая тишина казалась непоколебимой, совсем неожиданно произошли в нашем городе аресты и обыски, да еще днем и у всех на глазах. Поднялась обычная шумиха, давшая воображению обывателя обильную пищу. На улицах появилась „черная карета“, число арестованных было значительно преувеличено, многие из нас переименованы в студентов.

Жандармские визиты нам были нанесены по доносу некоего Соколова, человека, видимо плохо разбиравшегося в том, чем мы в своем кружке занимались. Благодаря этому часть подвергнувшихся в те дни обыску была мало или совсем непричастна к нашему кружку. За счет этих людей и нам пришлось отделаться значительно легче, ибо жандармы так и не установили того, что тогда почиталось за государственную опасность.

В то время мы только поднимали целину никем не затронутых возможностей для трудовой и учащейся молодежи, способной жить не по-отцовски, а по-новому, более самостоятельно и свободно. Мы до некоторой степени явились прологом для ивановского совсем нового десятилетия с его новыми хозяйственными формами, что потом создало и более ширскую арену

борьбы для рабочего класса. Это был первопутком-экскурс нашей критической мысли в область законом запрещенного, в область бытового консерватизма и религиозного окостенения.

Да и жандармы того времени, в особенности рядовые церберы, не имея большой практики, шли тоже первопутком в своей противной деятельности: в чтении чужих душ они были еще крайне малограмотны.

Рядовой жандарм Калинин, роясь при первом обыске в моих бумагах, набрал на мое стихотворение „Дуб“, ухватился за него, и, передавая его своему старшему начальству, сказал: „Тут что-то есть“. А стихотворение может быть и было навеяно какой-нибудь человеческой потерей, но все оно было только стихотворением пейзажным, начиналось так:

Упал вот и ты под грозю.

Не выдержал бури, мой дуб...

Должно быть слова „гроза“ и „буря“ показались опасными жандарму Калинину. Но оттого, что в простом изложении человеческой мысли ищут опасных слов, я почувствовал только сладость запретного плода, гордость от сознания, что я мыслю, и в этом я видел первое свое приобщение к делу своих учителей — близких мне писателей.

Я был не первый и не последний из зачинателей пролетарской поэзии и не у одного у меня были читателями жандармы. После них мне всегда приходилось и за себя и за других говорить, что мы:

Слишком ранние предтечи

Слишком медленной весны.

Такая медленная, затяжная весна меня не торопила писать, а заставляла оглядываться, прислушиваться к ночным звукам гондов от приказного порядка. Писал я мало, а печатался еще меньше: со столичными издателями ничего не выходило, а провинциальные были наперечет, и моя библиография ограничивается только последними; похожим на профессионала-писателя я стал только после Октября.

Возможно, что на моем творчестве лежит печать провинциализма. Я это и сам чувствую и объясняю это тем, что редакторы провинциальных изданий, где я печатался, гонорара не платили, были ко мне нетребовательны, от них я только и слышал, что их издание на ладан дышит. Приходилось работать на „умирающих“, ухаживать за „больными“. И нередко над „умирающим“ стоял некто в синем, чьи цензорские показания не шли дальше предугадывания — „тут что-то есть“; редакторам было не до упора на пролетарскую литературу, они приглашали с собой мыслить заодно:

сейчас нам „не до жиру, быть бы живу“. Приходилось переходить на рукописную литературу, уходить в подполье. Положение было куда лучше, когда наш брат попадал в тюрьму, где обстановка располагала к литературным занятиям, ибо за них отвечать особо не приходилось. Тюремным сидельцам казалось, что тюремные стены от этого раздвигались, они казались сами себе людьми, через это они как бы договаривались с тем, что находилось вне тюремных стен.

Роман Семенчиков, ивановский рабочий поэт, совсем молодым заморенный в Сибири, вот как определил призвание пролетарского поэта:

В руки я лиру взял, да не звучную,
Я на ниву вступил, да не тучную.
Я вам песни спою не небесные,
Сказки вам расскажу не чудесные,
Не скажу я привет сердцу праздному,
Не скажу похвалы безобразному,
Нет, я жизни хочу для себя и других,
Сколько силы найду, послужу я для них.
Буду петь до конца о великом труде,
Буду рваться всегда помогать их нужде.

Биограф Р. Семенчикова, А. Н. Рябинин, одно из своих стихотворений заканчивает словами:

Великое было, прекрасное будет...

Вслед за Р. Семенчиковым, чье призвание как пролетарского поэта определялось в служении своему классу, борьбе за него, шли и другие, чье участие в деле революции не прекращалось и во время тюремных отсылок. Здесь не было отчаяния среди обреченных, а горела в них живая, потенциальная сила, мудрость рабочего класса, выдвигаемого им актива.

Павел Постышев⁸ и Павел Симонов,⁹ оба ивановцы, политкаторжане Владимирского центра, были втиснуты в камеру уголовных. В заботах друг о друге, чтобы не быть обиженными соседями по камере, они ухитрились среди классического мата уголовных писать коллективно стихи, как бы ими выветривая камеру от параши, и их объединение на этом сказывалось в таких словах:

Хочется видеть, как сосны и ели
Дремлют в родимом краю,
Слушать в лесу соловьиные трели,
Хочется петь самому.

Петь, не смолкая, про радость и горе,
Сбросить оковы и петь.
Петь про любовь, про широкое море,
Волнами моря кипеть.

У истоков пролетарской литературы нашего Иванова всегда наблюдались два течения: одно шло по линии общественно-революционной, а другое по линии общественно-сатирической. У первого течения стиль был тюремно-нелегальный, а у второго — балагурно-обличительный, но шли они от одного источника, создавались на почве постоянных антагонизмов. Первое зарождалось в нелегальных рабочих кружках, в классовой непримиримости к хозяевам положения, к их системе выжимания пота. Второе течение было оформлением фабрично-заводского балагурства, за которым коротали и которым подгоняли время тогдашнего двенадцати и даже четырнадцатичасового рабочего дня. В этом течении антагонизмы были другого порядка: неприязнь к чужакам-натекакам, в сущности выручавшим городское коренное население, и неприязнь пришельцев к старому городскому населению, особенно той его части, которая была в плену „древнего благочестия“ со всеми особенностями старообрядческого быта и укоренившихся традиций старого города.

В погоне за высмеиванием друг друга, когда какая-нибудь шутка нуждалась в литературном оформлении, победа оказывалась на стороне пришлого населения. На это у нас было два мастера: И. Н. Веселовский и Трифонов-Берендей. Оба граверы, оба были весьма популярны в граверных мастерских и вне их; их рукописи усердно размножались, и в устной передаче их стихи кое-где сохранились и до сих пор. Они производили значительный шум, но были поверхностны, в них часто не было начал объединения и сплочения рабочего класса, — наоборот, они служили его расщеплению и помогали внутриклассовой борьбе.

Веселовский иногда очень метко высмеивал старообрядческих попов, на этом он специализировался. У Трифонова тематика была значительно шире, но и у того и у другого смех был часто ради смеха, ради сатирического заушения, в угоду нетребовательным литературным вкусам, идейного безразличия. Это чаще всего была любительская иконография без всякой художественной ретуши характерных уродливых черт мещанина-обывателя. Лично я им на это указывал, но они не знали и не хотели знать другого критерия, кроме оценок своего брата-читателя мастерового. Веселовский о нем говорил:

В „походячей“ серой паре
Он простой мастеровой.

Работал я одно время на фабрике Фокиных, считавшихся за людей богомольных и добрых. Праздничных дней у них было больше всех, не мало было и „родительских суббот“ и „великих пятниц“; из-за станка они гоняли нас на поминальные обеды и за обедами часто оделяли булками в память их отцов и дедов. Когда на их фабрике появилась техническая интеллигенция и на ее долю стала перепадать прибыль предприятия, с каждого „выработанного куска“ ей начали приплачивать; выдавали техническим работникам и на большие праздники „наградные“, что им очень понравилось, и они начали говорить об упразднении целого ряда праздников. Фокины на это поддались, целый ряд святых был „рассчитан“, что я и отметил в одном из первых своих стихотворений:

Добрались и до святых	Ни к чему-де божий чин
Фокины усердные.	Славного и вечного,
Рассчитали они их,	Раз нет веры у машин,
Выдали все медные.	То гулять им нечего.
Было сказано купцом:	Покровителей голандр
Дело не в неверии,	В святцах не отыщется,
А в расчете цифровом,	Скажем, Невский Александр
В главной бухгалтерии.	В цеховых не числится.

Наш город по числу выписываемых в то время газет и журналов, а также по количеству библиотек и читален был совсем некультурным. Чувствовался определенный литературный голод. На почве этого голода в конце 80-х годов в небольшой группе учащейся и рабочей молодежи возникла мысль издавать рукописный журнал и он стал выходить под названием „Первые проблески“. Инициатор этого дела, ученик реального училища, Е. М. Крестов, в своей библиографической заметке о журнале дает ему такую характеристику: „Журнал претендовал на звание литературно-общественного органа с обязательной передовой статьей, а дальше шли стихи, проза, карикатуры, все отделы, которые своим острием были направлены на мещанский уклад жизни, на его уродливые формы, на отсутствие в нем культурной обстановки“. Одна из передовых статей журнала давала основательный анализ бюджета рабочего с неумеренными расходами на выпивку в „дачки“, на бешеные и некультурные расходы на нашей ярмарке. Статья заканчивалась выкриком: „Когда же придет настоящий день?“ Тот день, когда народ

...Не Блюхера
И не Милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет.

Журнала „Первые проблески“ вышло три номера. В последнем номере в качестве литературного „советника“ принимал участие и я; туда я был введен Е. М. Крестовым. Но тут же вскоре мои советы приняли характер разрушительный, и так как этот журнал был мне не по душе, я это литературное гнездо все-таки решил разорить. Связанный с И. О. Слуховским другими интересами общественного порядка, среди сотрудников „Первых проблесков“ я набрел на нескольких способных юношей. Задуманный тогда Слуховским кружок саморазвития, программа которого была значительно шире программы „Первых проблесков“, очень нуждался в работоспособных людях. Для объединения обеих групп была устроена встреча. Встреча происходила в квартире Слуховского. Когда было указано на конспиративный характер встречи, на то, что и нам нужен „настоящий день“, о котором наши новые знакомые писали в своем журнале, конспиративность их не смутила. Часть их в кружке Слуховского осела, осевшие прошли некоторого рода отбор, испытание по признаку их участия в обсуждении вопросов реалистического мировоззрения, общественной этики, искусства конспирации, критики художественной литературы и целого ряда других вопросов. Новобранцев из „Проблесков“, наших прозелитов, широко и довольно обстоятельно обслуживала редкая по тогдашнему времени библиотечка Слуховского, где имелись: Лассаль, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Тимирязев, Ренан, Джон-Стюарт Милль и др. Книги эти Слуховским охранялись самым тщательным образом, выдавались они на руки всегда с наказом оберегать их от домашних. Книга в то время в большинстве мещанских семей почиталась чуть ли не грехом. Я знал случай, когда только за одни книги отцы преследовали своих детей, ссылая их, как мы тогда говорили, в места „не столь отдаленные“ — на задний двор, в бани. В банях и происходили первые наши сходки. На этих сходках мы чувствовали себя не только безбожниками, но и заговорщиками, где нас тянуло к сочинительству; „сочинителями“ нас звали и за то, что мы чаще других появлялись на улице с квидами в руках.

Перекочевавшие к нам из „Проблесков“ сотрудники нашли применение своим способностям в составлении рефератов по экономическим вопросам: к числу практической учебы в кружке надо отнести и дискуссии

рование вопросов по художественной литературе. Слуховский знал много нелегальных стихотворений, особенно хорошо он читал стихотворение Ольхина „У гроба“ и стихотворение „Бог“ Беранже. Не изгонялась у нас и хорошая чистая лирика. Из этого цикла хорошо сохранилось в памяти стихотворение с началом и концом из таких двух стихов:

Как хороша была та ночка голубая,

Как ласкова была та бледная луна.

Темы тогдашних моих стихотворений были связаны с трудовыми процессами; на эти темы навел меня Слуховский; он хотел во мне видеть поэта фабричных корпусов и ремесленных мастерских. В кружковых занятиях по вопросам этики нами было усвоено положение Джона-Стюарта Милля: „нравственно только то, что полезно“. Защищая это положение мы защищали тогда и господствующую так называемую „теорию малых дел“, новых вех, практику которых красочно и убедительно разоблачал в своих „Очерках русской жизни“ Н. В. Шелгунов, создавший своими очерками около журнала „Русская мысль“ большую читательскую аудиторию.

В кружке нашем имелись тенденциозные романы: „Что делать“ Чернышевского, „Шаг за шагом“ Омудевского, „Николай Негорев“ Кушневского, „Хроника села Смурова“ Засодимского; их мы выдвигали как литературу полезную, литературу первой очереди. Эти романы разрешали и мои литературные вопросы: о чем писать и что наиболее существенно важно в содержании литературно-художественных произведений.

Практическое осуществление „теории малых дел“ шло и дальше нашей книжной пропаганды; мы начали измерять эту теорию практикой местных благотворителей и благотворительниц. Мы защищали гимназисток „кухаркиных детей“, девушек, живущих улицей, актрис, обиженных антрепренером, рабочих и работниц, обманутых фабричной инспекцией. Писали по этому поводу письма именитым адресатам, а когда на эти письма не отвечали, добивались с ними непосредственных встреч, на что был хороший мастер сам главарь нашего кружка. Встречали его наши общественники иногда очень любезно, на словах не отказывались от помощи, а провожали, как мы тогда догадывались, конечно улыбками, пожатием плеч, вздохами облегчения, что наконец-то они расстались с непрошеным гостем, с небывалым для их обстановки визитом.

Бесполезное писание писем, остававшихся чаще всего без ответа, навело нас на мысль, что для таких дел пора нашему городу иметь газету, от рукописных „Первых проблесков“ перейти к какому-нибудь печатному „Русскому Манчестеру“.

С наименованием предполагаемой газеты „Русский Манчестер“ Слуховский отправился к предполагаемому ее соиздателю Н. А. Ясунинскому, кохомскому фабриканту, инженеру-технологу, знакомому нам по любительскому театру. Слуховский от Ясунинского вернулся с такой обещанной суммой денег, что мы как-то этому и не верили. Денежную сумму в 10 тысяч рублей мы едва-едва выговаривали и тут же подумали, да не красивый ли это только жест — ведь Ясунинский прекрасно знает, но скромно умалчивает, что газета в Иванове не осуществима, что это мечта, утопия. Так и случилось. Когда Слуховский после обещания Ясунинского дать денег для газеты начал искать типографию и остановился на типографии Александровских, то тут и была погребена наша газетная литературная мечта. Александровские до нас сами собирались выпускать газету, но в этом со стороны Главного управления по делам печати им было отказано. А один чиновник из Петербурга им между прочим писал, что обратиться они непосредственно с этим делом к нему, то через взятку еще кое-что можно будет сделать. В указанном комитете печати существовал такой порядок: когда какому-нибудь провинциальному городу первоначально отказывали в газете, то все последующие подобные ходатайства отклонялись механически, без всякого их рассмотрения.

III

Вспыхнувшая мечта о газете погасла, и для нашей практики „малых дел“ почвы в этой области не оказалось; тогда мы эту практику постановили перенести из города в деревню, сесть на землю и своим намеченным опытным садово-огородным хозяйством помогать деревенскому зерновому хозяйству.

Для осуществления этого у нас было увлечение, молодость, совсем незначительные средства и кое-какая специальная садово-огородная литература. Место для огорода мы избрали под Кинешмой, в деревне Малое Жажлево. Отправились туда втроем: В. Н. Ларионов, И. О. Слуховский и я. Тяжелая огородная работа ни у кого из нас не отбивала потребности сближения с деревенским населением и с рабочими Поволжья, к которым мы ходили в свободное время на приработки грузить дрова.

Среди местного населения изредка встречались бывшие матросы военного и гражданского дальнего плавания, побывавшие в кругосветном путешествии; с них-то, как людей более культурных, мы и начинали свою хозяйственную пропаганду, подсовывали им, помимо специальной литера-

туры, Засодимского „Хронику села Смурова“, стихи Некрасова. От своих читателей, новых знакомых по огородному хозяйству, нам приходилось слышать, как надо понимать такие стихи Некрасова:

Средь мира дальнего	Лишь души сильные,
Для сердца вольного	Любвеобильные,
Есть два пути:	На бой, на труд.
Одна, просторная,	Иди к обиженным,
Дорога торная,	Иди к униженным,
Страстей раба,	По их стопам.
Другая, тесная,	Где трудно дышится,
Дорога честная, —	Где горе слышится —
По ней идут	Будь первым там.

Разговоры об этом нам, конечно, стали казаться наводящими на мысль, что наши новые знакомые догадываются, зачем мы приехали к ним в Жажлево. То же самое слышалось и в конце наших бесед. А беседы наши стали заканчиваться с их стороны фразами и, как нам казалось, не случайными:

— А в деревне у нас опять толкался урядник...

Мы были на подозрени. Летом 1890 г. нашим кружком в Иванове была распространена прокламация, которая у ивановской полиции и жан-дармерии стала большой занозой, беспокоившей их. Посещения Жажлева урядником мы начали считать подозрительными, нам они казались нащупыванием следов виновников распространения прокламации. Пришлось насторожиться, задуматься над возможностью ареста. Наш товарищ Ларионов был семейным, имел детей, семья при его аресте могла очутиться в беспомощном состоянии, а налицо была хозяйственная неудача: огород наш хорошего урожая не обещал. Решено было его ликвидировать с таким расчетом: арендуемая нами земля под огородом принадлежала родственнику Ларионова, которому в случае того или иного краха и решено было ее вернуть. Я со Слуховским вернулся в Иваново, тем более, что там без нас дело начало расползаться, кружок наш стал хиреть.

Наши попытки осесть на земле были похожи по форме на существовавшие в то время „культурные скиты“, называвшиеся „толстовскими колониями“. На самом деле „толстовцами“ мы никогда не были, толстовская проповедь тех времен нашему кружку была чужда. Мы жили в городе рабочих, рабочие и были в нашем кружке. В природе такого положения вещей несомненно должны быть заложены элементы борьбы, и эта борьба



А. Е. НОЗДРИН В 1893 г.

туры, Засодимского „Хроника села Смурова“, стихи Некрасова. От своих читателей, новых знакомых по огородному хозяйству, нам приходилось слышать, как надо понимать такие стихи Некрасова:

Средь моря дальнего	Лишь души сильные,
Для сердца вольного	Любвеобильные.
Есть два пути:	На бой, на труд.
Одна, просторная,	Иди к обиженным,
Дорога торная,	Иди к униженным,
Страстей раба,	По их стопам.
Другая, тесная,	Где трудно дышится,
Дорога честная. —	Где горе слышится —
По ней идут	Будь первым там.

Разговоры об этом нам, конечно, стали казаться навязываемыми на мысль, что наши новые знакомые догадываются, зачем мы приехали к ним в Жажлево. То же самое слышалось и в конце наших бесед. А беседы наши стали заканчиваться с их стороны фразами и, как нам казалось, не случайными:

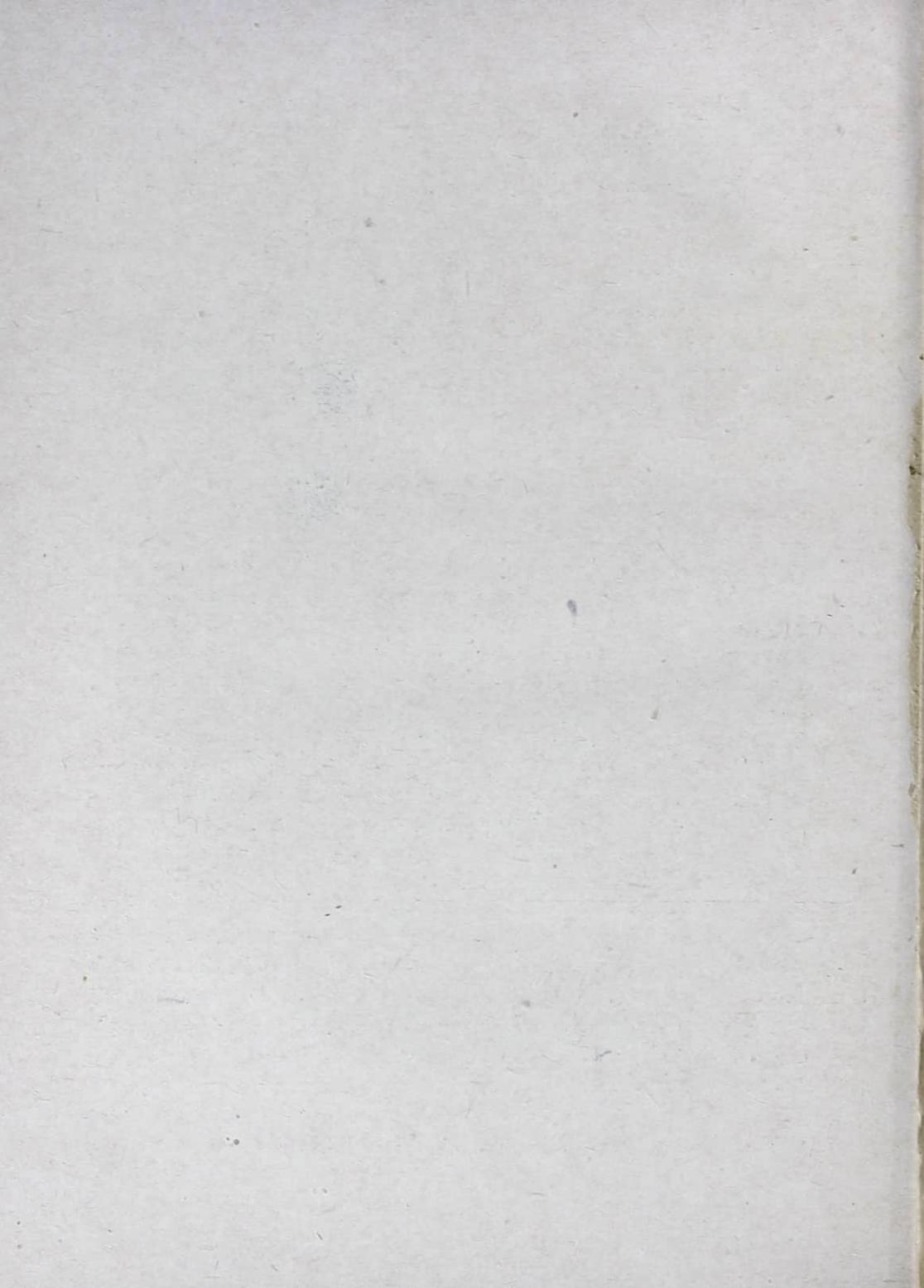
— А в деревне у нас опять толкался урядник...

Мы были на подозрении. Летом 1890 г. нашим кружком в Иваново была распространена прокламация, которая у ивановской полиции и жандармерии стала большой занозой, беспокоившей их. Посещения Жажлева урядником мы начали считать подозрительными, нам они казались нащупыванием следов виновников распространения прокламации. Пришлось насторожиться, задуматься над возможностью ареста. Наш товарищ Ларионов был семейным, имел детей, семья при его аресте могла очутиться в беспомощном состоянии, а налицо была хозяйственная неудача: огород наш хорошего урожая не обещал. Решено было его ликвидировать с таким расчетом: арендуемая нами земля под огородом принадлежала родственнику Ларионова, которому в случае того или иного краха и решено было ее вернуть. Я со Служковским вернулся в Иваново, тем более, что там без нас дело начало расплываться, кружок наш стал зиреть.

Наши попытки осесть на земле были похожи по форме на существовавшие в то время „культурные скиты“, называвшиеся „толстовскими колониями“. На самом деле „толстовцами“ мы никогда не были, толстовская проповедь тех времен нашему кружку была чужда. Мы жили в городе рабочих, рабочие и были в нашем кружке. В природе такого положения вещей несомненно должны быть заложены элементы борьбы, и эта борьба



А. Е. НОЗДРИН В 1893 г.



за освобождение рабочего класса нами мыслилась и признавалась. Пусть ее практика была незначительна, но сказать, что ее совсем не было,— никак нельзя. Мы со своим реалистическим, материалистическим мировоззрением, чуждым всякой мистики, не могли считать себя только культурниками-книжниками.

Во временном нашем увлечении практикой теории „малых дел“ мы, как нам думалось, встречаемся с реальной возможностью, где слово с делом не должно расходиться и при полном их взаимном соответствии должны дать какие-то ощутительные результаты. Мы что-то делали, чему-то учились, но вскоре убедились в том, что дамы-филантропки, к которым мы обращались, скорее наши враги, чем друзья. А где враги — там должна быть и борьба. В деревне мы встретили другую картину. Практика „малых дел“ тургеневского Соломина из „Нови“, его проповедь, как и чем можно помочь деревне, оказалась несостоятельной. Соломинская туалетная установка, — если встретишь в деревне непричесанного и неумытого мальчика-заморыша, то причеши и умой его, и это будет большим культурным служением народу, — в нашей практике „малых дел“ не нашла реального отражения. Когда мы пригляделись к деревне, то она нам со всеми ее потрохами показалась неумытой, непричесанной. Деревня была нища и бестолкова, прикрашивание ее по-соломински оказалось бесцельным прекраснодушием. Без массовой встряски ее, без коренной ломки в ней ничего не поделаешь. На этом мы строили свои взгляды. Деревня и город у нас становились безраздельными, заботы о них — объединенными, чему способствовало и то положение, что в наших краях чистокровного пролетария не было, а была разновидность рабочего и крестьянина, в силу чего и наша рабочая поэзия была часто поэзией переключки города с деревней или наоборот — деревни с городом. Кружок наш был хорошо законспирирован, но его бытие как-то просочилось наружу, докатилось до предательского слуха некоего Соколова. Ожидаемая нами встреча с жандармами стала фактом. В городе она наделала много шума, а в Малом Жажлеве шума больше не было, хотя жандармы и там были. Появление жандармов заставило местное население лишней раз почесать в затылке, богомольных баб пошущукаться, а старика, владельца земли под огородом, запугало так, что он нашествия полиции не выдержал: взял да и помер.

Следствие по нашему делу было непродолжительное. Несколько дольше оно задержалось на нашей прокламации, которую жандармам приписать нам никак не удалось. Искусство держаться на допросах нами было вос-

принято; на этом мы тренировались в конце каждой нашей сходки. И таким образом выдержали перед жандармами полный экзамен. К нашим личным показаниям со стороны Слуховского прибавлена была дополнительная характеристика.

Мне он приписал знание Пушкина, выдал меня за знатока его поэзии. Но это не совсем верно: мне был ближе и созвучнее Некрасов. И после того как мне были возвращены жандармами книги и рукописи, я кое-чего из последних недосчитался; таким образом в жандармские архивы я внес свои первые, якобы нелегальные, стихи. Позднее я попытался возобновить их, и память мне в этом не отказала.

Нашествие жандармов определило наш удельный вес. Этот критерий стойкости человеческого духа нас расклинил, мы разошлись в разные стороны: от начатой революционной работы, хотя и робкой, одни отошли совсем, другие временно, а третьи — исключительно рабочая часть — тут же перекочевали в новый рабочий кружок Ф. А. Кондратьева, уже с ярко выраженной марксистской окраской.

Грубой и подлой измены идеалам нашей юности ни у кого из нас не было. А культурная зарядка этих лет нам привилась необычайно крепко. Знания, идейная художественная литература, во многих случаях общественная культурная работа стали нашим инвентарем в дальнейшем жизненном пути, постоянной переключкой с незабываемым светлым прошлым.

Время шло. Город культурно не рос. Нас опережали города-соседи.

Ярославлем в Иванове было открыто отделение его газеты „Северный край“,¹⁰ куда я в качестве подписчика пришел чуть ли не первым. Заведующему отделением я должно быть показался пишущим, и он мне предложил корреспондировать в газету. Я ему предложил стихи, — он и от этого не отказался. Стихи в газету были посланы, началось обычное тревожное ожидание ответа. Несколько редакторских ответов от столичных журналов я уже имел, но только через почтовый ящик. Почтовые ящики я называл сухой гильотиной глумления. Я любил их читать, они меня кое-чему научили, но я всегда думал, что в них любили резать головы больше провинции, чем столице; эти операции выпадали и на мою голову. А потом я и сам очутился в столице, работал на одной из фабрик в тогдашнем Петербурге, где попытался было связаться с журналом „Живописное обозрение“, но и тут попал под нож сухой гильотины. В то же время я начал переписываться с Валерием Яковлевичем Брюсовым, решил через него проверить свои поэтические способности. Брюсов тогда мои стихи читал

своим соратникам. В одном из ответов на мои письма он приехал мнение о моих стихах тогда ему близкого поэта Александра Курсинского, что человек, написавший такие два стиха:

Ночь — старуха богомольная —
Миллион лампад затеплила,

должен безусловно почитаться как поэт. После этого я начал считать себя „признанным“, хотя оценка тогдашних моих стихов исходила от утонченных эстетов.

В „Северном крае“ я не встретил такого сурового приема и к моей тематике. И я был очень польщен, когда в нем появилось мое первое печатное стихотворение.

НОЧЬЮ

Кашлем, плачем, стоном,
Кто во что горазд,
Будят мать в постели
В неурочный час.
Грудь нужна ребенку,
А другому пить,
Просит батька хворый
Трубку раскурить.
Всем и все достала
Мученица-мать
И малютку в люльке
Начала качать.

Застучали в двери.
Проклятая ночь!
Из пивных, кофеен
Воротилась дочь.
Будут разговоры:
Дочка под хмельком,
Дочка не уступит
Матери ни в чем.
Выскажет угрозы,
Что совсем уйдет...
И у ног родимой
Вся в слезах уснет.

Печатались в этой газете и другие мои стихи, по поводу которых никакой переписки со мной не велось и редакционных поправок в них я никогда не встречал. Уже позднее я узнал, что рукописи стихов в этой редакции складывались на одном из подоконников. Они были запасным подверсточным фондом, и хозяином их был иногда метранпаж; когда он нуждался в подверсточном материале, то в эти стихотворные недра запускать свои руки и извлекал оттуда то, что ему подходило по количеству строк. Прозе эта газета уделяла большое внимание, в ней хорошо был поставлен „Областной отдел“. Если писать историю рабселькоровского движения, то надо сказать, что его истоки надо искать именно в газете „Северный край“.

С поэтами, выходцами из рабочей среды, в смысле их учебы и вос-

питания, поступали не лучше провинциальных газет и столичные толстые журналы.

В декабрьской книжке „Русского богатства“ за 1900 г. была напечатана статья В. Додонова „Русский Манчестер“. Один из разделов этой статьи имел громкое название „Рабочий поэт“.

Рабочему поэту Ивану Фролову, о котором повествует Додонов, было уже 40 лет, а он и в таком возрасте продолжал писать стихи, нигде их не печатая. Фролов работал в лаборатории ситцевой фабрики, жил в деревне, не бросая сельского хозяйства... Фролову как человеку и поэту Додонов дал такую характеристику: „В духовном отношении он стоит неизмеримо выше окружающей среды. Ему свойственно тонкое понимание природы. Как видно, после гула и смрада фабрики природа каждый раз с новой силой действует на душу фабричного“.

В самом же стиле стихов Фролова нет ничего такого, что бы возвышало его над такими поэтами, как ниже указанные Веселовский и Трифонов. Поэта ни одним краешком не захватила бурная волна стачечного движения 90-х годов, его имя не упоминается среди вождей этого движения и рядовых его членов. За ним остается несомненное поэтическое дарование, но это дарование вне идейной тематики, не овеяно оно переживаниями не только передовых рабочих, но и всей рабочей массы в целом, в те годы начавшей показывать себя в кровавой борьбе за свои рабочие интересы. В стихах Фролова нет и той культуры стиха, которая была например в стихах Семенчикова.

Из посещения „Русского Манчестера“ Додонов сделал выводы, что фабрика четвертому поколению своих „учеников“ ничего не дала, все культурные блага — медицинская помощь, библиотеки, разумные развлечения и пр., — пришли извне, за счет земства, города и частной благотворительности, и поэт Фролов поднялся к свету культуры не от фабрики, а от посторонних влияний во время отбывания им военной повинности в одном из больших городов Западного края. Неужели же В. Додонову не было известно, как в те годы всякая самодеятельность рабочих в области культуры преследовалась и каралась тюрьмами и ссылками?

В дальнейшем поэт Фролов где-то затерялся. Так пропадали ни за что и другие даровитые выходцы из рабочей среды, когда их под свое покровительство брали Додоновы. На статью Додонова в том же „Русском богатстве“ дал надлежащую отповедь С. П. Шестернин.¹¹

В защиту иваново-вознесенских рабочих Додонову была дана отповедь и в заграничном приложении к „Искре“ № 9 за 1901 г.

Говоря о библиотечных читателях, Додонов подписался под тем, что „нет ни одной книги на-дому в целом районе с 20 000 жителей“. Возможно, что „Русского богатства“ в домах этих тысяч жителей не было. Этот журнал еще во время первых марксистских кружков считался чуждым рабочим, ибо для него фабрика была не культурным фактором, а рассадником пьянства и невежества, язвой народа. Отповедь Додонову „Искра“ заканчивает тем, что „из Иваново-Вознесенска высылают рабочих не менее интеллигентных, чем Иван Фролов, хотя может быть они и не занимаются стихами. Выходит даже некоторая аналогия с университетом; как университет выпускает и высылает часть „света“ и „культуры“ в разные уголки России, так точно и Иваново-Вознесенск рассылает со своими рабочими „свет культуры“ во все концы России“.

Отповеди С. П. Шестернина и И. В. Бабушкина из „Искры“ можно дополнить еще приподнятием редакционной завесы „Русского богатства“ — сказать о том, как додоновская статья редактировалась.

В одном из писем В. Г. Короленко к Н. К. Михайловскому¹² есть такое место: „б) статья Додонова „Русский Манчестер“. Об этом уже были разговоры. Н. Ф. Анненский возражал против цифр. Я написал автору, что можно поместить лишь при сильных сокращениях. Он ответил что если „Р. Б.“ поместит лишь часть статьи, — он все-таки предпочитает напечатать у нас, чем всю в другом журнале. Я целиком выкинул почти две главы, цифры сократил тоже довольно радикально и теперь, полагаю, статья довольно пригодна. Касается вопроса интересного, несколько легковесна, но — довольно жива“ и т. д.

Хорошо признание, что статья „легковесна“, но печатать все-таки надо как документ антимарксистский, опорачивающий фабрику, опровергающий утверждение, что лучшим проводником всякой культуры является фабрика, а тут они поймали с поличным и на таком крупном участке как „Русский Манчестер“. Неизвестно, о чем главы и какие цифры были удалены из статьи Додонова, и называть ее после такой редакционной трепки статьей „довольно живой“ пожалуй неудобно, она, вернее, была не живой в обработке „Русского богатства“, а угодной только народническим тенденциям.

Нам пришлось найти и фроловский архив, оказавшийся в Ивановском облархиве. В неопубликованных стихах Фролова есть указание на то, что

он на военной службе был ротным фельдшером и за какую-то особую помощь одному из солдат посажен в карцер. Оказывается, и в Западном-крае солдатская казарма была только казармой и говорить о ней как о культурной школе нельзя. Додонов и в этом случае солгал.

В архивной фроловской папке имеются еще стихи другого фабричного поэта — Федора Шатунина. Этот культурную зарядку получил в школе, в фабричной обстановке, и жил воспоминаниями о ней.

Фролов и Шатунин уже были на полдороге к тому, чтобы запеть голосом пролетарских поэтов, но им не у кого было учиться, а когда они попадали на Додоновых, то Додоновы за счет их только клеветали на рабочий класс и свою клевету выдавали за познание России.

IV

И насколько же я был счастливее Фролова и Шатунина, когда на мою долю выпали такие два учителя, как Иван Слуховский и Валерий Яковлевич Брюсов.

Я писал — они меня поправляли, я говорил — они меня в нужных местах останавливали. Помню мое восхищение лермонтовским „Демоном“ его клятвой, а Валерий Яковлевич называл ее мещанской, отсылая меня к клятве Пушкина, говорил: „Помните его стихи:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой...

Здесь чувствуется то, что будто это говорит не человек, а существо выше человека, а Лермонтов Демона сделал мещанином.“

„Шуты и дети часто говорят правду, — продолжал Брюсов, — и это шекспировское выражение я позволю себе повторить и иллюстрировать его одним анекдотом.“

Здесь Брюсов заговорил о своем любимом поэте Тютчеве. Тютчев был представлен маленькому мальчику, звавшему его стихи. Мальчик был немало удивлен тому, когда увидал, что любимые его стихи принадлежат какому-то седенькому старичку. И он, удивляясь этой встрече, сказал: „А я думал, что их написал ангел“. — „Вот это художественный критерий детской правды, — сказал Брюсов, — который можно применить и к пушкинской клятве, сказать о ней, что она написана каким-то сверхчеловеческими поэтическими средствами.“

При другой встрече он о Лермонтове говорил уже по-другому; его поэму „Мцыри“ он называл недостижимой высотой. Казалось, что он хотел себя поправить, изменить свой взгляд на Лермонтова. Без Тютчева не обошлась и эта встреча; он восхищался тютчевскими рифмами „демоном“, „Неманом“ из стихотворения „Наполеон“. От Наполеона он перешел к оценке французского правительства, которое, по его мнению, после дела Дрейфуса вынесло самому себе смертный приговор. Брюсов возмущался размножением в миллионах экземпляров речи какого-то члена французской палаты депутатов и удивлялся тому, что это происходит в стране, давшей. Тут он упомянул запечатанное мной имя какого-то египтолога. Как он в этот момент не был похож на первые книги своих стихов, молодой по годам, а этой молодости я в нем не видел. Он был серьезен и внушительен, с чем очень гармонировала обстановка его квартиры.

Жил он тогда на Цветном бульваре. Мебель его квартиры — красного дерева, цвета переплета старого псалтиря — вызывала на какое-то особенное внимание к ней и ее хозяину. Вся обстановка старокупеческая, но без обычных лампад и псалтиря у божицы.

Серьезность хозяина и солидность обстановки меня подмывали спросить его, что значит его стихотворение „О, закрой свои бледные ноги!“

Думал я этим вопросом его заставить улыбнуться, но этого я не достиг.

„Вы затронули довольно интересный вопрос... — И он с такой же серьезностью, с какой говорил о Пушкине и Лермонтове, начал объяснять значение его „бледных ног“. — Большинство пишущих старается писать по количеству строк многострочные вежди, боятся писать стихи в одну-две строчки, как бы их не приняли за фрагменты. Я же этот вопрос своими „ногами“ разрешаю так: стихотворение и в одну строку должно иметь все права своего гражданства как форма афористическая. Афоризма в моих „ногах“ нет, здесь я к этому подошел пока только формально. Вот Бальмонт недавно читал мне свое стихотворение „Хочу быть смелым, хочу быть дерзким...“ А своего стихотворения в одну строку „И никого и ничего“ напечатать не дерзает. А ведь он ваш шуянин, из города рабочих, немного причастен и к революционному движению. А в области литературы он революционер только на словах“.

Были у нас разговоры и о том: надо ли издавать и печатать отдельных авторов, когда они еще не нашли себя, не самоопределились: кто они? и что они?

„Процесс самоопределения, поиска себя, их полнота и сложность переживаний при хорошей их подаче должны расцениваться в положительном смысле. Ведь пути к истине, — сказал Валерий Яковлевич, — часто бывают выше самой достигнутой цели“.

Остановился он как-то и на мне как на авторе, которого пора печатать, и издавать. Он во мне находил оригинальными и такие приемы, когда в свои стихи я вводил цифры, писал о семи цветах радуги, о семи звездах Медведицы или:

Мы волны считали: седьмая, восьмая;
И вот роковая нашла...
И вздрогнула наша семья небольшая,
Когда нас она обняла.

В. Я. в то время замышлял издать хрестоматию современной поэзии по образцу германской, изданной Францем Эверсом, куда он намерен был втиснуть и меня.

Издание это по каким-то причинам не состоялось, и тогда он остановился на другом плане: решил выпустить мои стихи отдельной книжечкой. Однако и это издание не состоялось. Повторилась моя авторская застенчивость, пугала меня и упадочность некоторых стихотворений предполагаемой книжки, и явное противоречие — несходство моих обычных настроений с переданными в ней, где я собирался

Плыть к островам небывалого,
К гаваням вечной весны,
Где меня ждут как усталого
Гостя холодной страны.

Не отвечали моим новым настроениям и такие стихи задуманной Брюсовым книжки:

Мы робко с волною воюем,
Возможно ли здесь устоять,
Где бурный прилив неминуем,
А пристани нет — не видать.

Стихи эти были петербургского периода моей переписки с Брюсовым, словарь и образ которых были навеяны Финским заливом, его пристанями судами и братанием на этих пристанях русских рабочих с иностранцами — матросами. Но в этих стихах была и полная оторванность от излюбленной моей тематики родного рабочего города, хотя и на питерской фабрике, где я работал, меня знали и вне моей мастерской.

Когда я из Питера возвратился в Иваново и поступил работать на одну из самых захудалых фабрик Петра Дербенева, то на ней (да так было и на других местах) я встретил огромный рост сознания рабочих, встретил прослойку из рабочей массы, таких товарищей, с которыми можно было легко и безбоязненно говорить на какие угодно темы. Прошло каких-нибудь три-четыре года после разгрома нашего объединения, а на пустыре, отделявшем фабрику Дербенева от фабрики Полушина, в обеденный перерыв уже собиралось человек по 10 — 15, поднимавших тогда вопросы стачечного движения, борьбы с экономизмом, профессионального и кооперативного движения. Это были дневные сходки революционного подполья социал-демократических кружков. К дербеневским товарищам, среди которых были братья Воронины, П. Волков, В. Соловьев, С. Кисляков В. Бардов и др., присоединился, будучи тогда еще подростком, Николай Грачев.¹³ Он пришел на фабрику из столярной мастерской ко мне „под руку“ в качестве ученика-гравера. Начатки ремесла, стремление быть культурным и развитым рабочим Грачев приобрел еще до фабрики в ученическом кружке реалистов Александра Пророкова и Владимира Носкова¹⁴ — впоследствии очень видного большевика. Пророковский кружок издавал первый в Иваново ученический рукописный журнал, участником которого должен быть и Грачев. Имея под руками такого ученика, как Грачев, мне, не утратившему связи и с другими передовыми рабочими, приходилось не раз быть под обстрелом всевозможных вопросов. Это меня обязывало побольше знать, побольше читать, чтобы на задаваемые товарищами вопросы отвечать по существу: лжевсезнайкой я быть не хотел. И у меня эта эпоха приобретения знаний отодвинула стихотворство на задний план, я как поэт замолчал на целых семь лет.

Пришел 1905 год. Его революционная волна подхватила и меня, в те дни безработного, но связанного общественной работой с кооперацией и зарождающимся профессиональным движением. Я был членом правления общества потребителей и общества взаимопомощи фабричных граверов. Это обязывало меня встать в ряды восставших ивановских рабочих, и я оказался среди них своим человеком. О том, почему я оказался своим, да еще нужным человеком в тот момент массового рабочего движения, может рассказать книга М. А. Багаева „За десять лет“. Багаев пишет: „Иваново-Вознесенская организация имела и свой хороший тыл. Этот тыл состоял из „Бабы-Мокры“ (Е. В. Иовлевой) и нескольких рабочих (А. Е. Ноздрин и др.). Отошедшая временно от революционной работы

В. Иовлева формально не состояла членом организации; в течение семи лет, с 1896 по 1903 г., она оказывала всяческое содействие организации: во время обысков предупреждала товарищей о грозящей им опасности, а после жандармских погромов собирала разбитые силы и потом передавала их преемникам в работе. Много помогли организации и стоящие так сказать в резерве товарищи, как, например, Ноздрин и др. У них приезжие товарищи могли получить ночевку, через них получить связь с той или иной группой рабочих, а кроме того они вели культурно-подготовительную работу среди неорганизованных рабочих, благодаря чему приобрели такую популярность, что во время всеобщей иваново-вознесенской стачки 1905 г. Ноздрин А. Е. был единогласно избран председателем первого Совета рабочих депутатов“.

По современной терминологии роль моя в рабочем движении за целый ряд лет сводилась к так называемому „приводному ремню“, но эту приписываемую мне честь я хотел бы разделить с целым рядом наших спутников жизни, мне памятных и дорогих товарищей. Мне хочется назвать и их приводными ремнями, если можно так выразиться, „второй передачи“, чья помощь часто в весьма рискованных конспиративных делах была так необходима и всегда так жертвенно безупречна. Женщины старших возрастов, наши матери, всячески защищали своих дочерей и сыновей, когда им угрожали какие-либо репрессии. Подпольщик, профессионал-революционер В. Новиков, выдавший всякие виды, побывавший во многих уголках революционной России, в своих воспоминаниях¹⁵ об Иванове и ивановцах говорит следующее: „В то время, когда в Москве в большинстве случаев сознательные рабочие принимали участие в революционном движении или тайком от семьи, или при враждебном отношении части ее, или во всяком случае редки были случаи, когда вся семья от мала до велика была „сознательной“, — в Иванове-Вознесенске социалистов считали не по именам, а по домам. Там в партийной работе принимали участие не только отец, но и мать, сын и маленькая дочь, даже бабушка, если таковая была“. Ивановские работницы, на 70 процентов заполнявшие текстильные фабрики, и в 1905 г. в большинстве своем не были настроены реакционно. Я не помню ни одного случая, когда бы они мешали активности своих мужей и братьев. Не случайно и в стихах своих я дал несколько зарисовок женщин-работниц, чьи руки ткали не только одни полотна, но и превращали их в знамена, на которых были революционные могучие слова: „Освобождение рабочих — дело самих рабочих“.

События 1905 г., помимо непосредственного участия в них, привели меня к мысли вести запись всего происходившего. Может быть в будущем это кому-нибудь да пригодится. С этой целью я собирал в документах все, что касалось этих событий, завел дневник и начал набрасывать первые стихи задуманной мной поэмы „Ткачи“.

Дневник вел я и раньше. Еще во время кружка И. О. Слуховского я ухватился за мысль Генриха Сенкевича. Его роман „Без догмата“ написан им в форме дневника, и самые первые слова его романа говорили вот о чем: „Несколько месяцев тому назад я встретил моего товарища и друга Иосифа Святыньского, который за последнее время занял крупное место среди наших писателей. В беседе со мной о литературе Святыньский между прочим говорил, что придает большое значение дневникам. По его мнению, человек, оставляя после себя дневники, дурно или хорошо написанные — это безразлично, лишь бы только искренне, дает будущим психологам и романистам не только картину современной ему жизни, но единственные правдивые данные, которым можно верить. Святыньский с уверенностью высказал мнение, что в будущем повести и романы примут исключительно форму дневников, утверждал даже, что тот, кто пишет дневник, несомненно работает в интересах общества и заслуживает его признательности“. С этого началось и мое писание дневников; это обязывал делать и 1905 г., когда фабрики перестали дымить, а фабриканты перестали разъезжать из дома на фабрику и обратно на рысаках, когда погасли паровые топки, в особняках фабрикантов затеплились „неугасимые“ лампадки, а наш бивуак, раскинутый на Талке, жег свои огни, выжигая ими все ненавистное прошлое.

Литературные замыслы этого года ни в какой мере завершить не пришлось. Конец этого года ознаменовался выступлением контрреволюционных сил. Манифест 17 октября — эту царскую милость на словах — отцы города превратили в дело самой жестокой мести. Черной бандой я был приговорен к смерти, от возможного самосуда ушел за несколько минут, и вместо головы черносотенцы отыгрались только издевательствами над женой, над детьми, над моим имуществом, квартирой. Сам же я уехал в Москву.

Как во время пожара спасают в первую очередь то, на что раньше меньше всего обращали внимания, или как во время свидания в тюрьме с близким всегда говорят не о том, о чем бы надо было говорить, — так и я в последний момент перед погромами ничего не взял с собой нужного, ценного, даже денег взял не столько, сколько их понадобилось в первые дни моего невольного скитания, поисков нового пристанища. Да и как тут

можно было организованно думать, логично мыслить? Я только удивлялся себе, как это я, человек далеко не из храбрых, не торопился спастись от угрозы смерти? Крики и какой-то особый гул погромщиков были ясно слышны на дворе моей квартиры, а на уговоры моей семьи уйти я все еще не сдавался. И не будь около них посторонних, я мог бы быть убит или жестоко искалечен. И только друзья мои и семья сумели меня вытолкнуть за ворота, а один из них — Сергей Кожухов — предложил мне не бежать, когда он увидал, что погромщики от нас недалеко, в каких-нибудь ста шагах. А побегу мы с ним, нам бы несдобровать. Вдогонку были слышны только крики разъяренной толпы, да пение „Спаси, господи, люди твоя“. А мое достояние — книги, накопленные за двадцать лет рукописи, письма, дневники — все разом превратилось в добычу самых разнузданных, безотчетных страстей, на что, как мне передавали после, смотреть было страшней, чем на пожар.

Москва меня встретила добрыми революционными настроениями, ее барометр стоял на предгрозы, обещал бурю, и я в этом предгрозы затерялся, от ран и обид быстро оправился. Ивановским беженцем в Москве я был не один, мы начали жить революционным землячеством, почти каждый день собирались на Малой Кудринской в квартире Е. В. Иовлевой.¹⁶ Ее квартира в это время походила на пороховой погреб. Хранились „апельсины“ македонского образца, тогда мы называли их еще „тульскими пряниками“ — они были привезены из Тулы. Вооруженное восстание, кормежка „пряниками“ врагов признавалась всеми гостями Е. В. А когда начались бои на Пресне, Е. В. ухитрилась поддерживать с ними связь, носила „бойцам“ поесть, что-то для них стряпала.

Во время моего непродолжительного пребывания в Москве я встретился и жил в одной квартире с Владимиром Михайловичем Шулятиковым.¹⁷ Знаком я с ним был раньше по Твери, когда он там жил на положении высланного из Москвы.

Тверская наша встреча произошла в „Парусе“. Этот „Парус“ представлял собой нечто вроде общественного клуба. В его читальном зале мы нашли только одну „Ниву“, по поводу чего он тогда заметил, что для Твери, прославленной своим земством, его знаменитыми либералами, одной „Нивы“ маловато, но что зато это идет к лицу города, который находится в двух шагах от Москвы и в то же время считается городом ссыльным, когда о тверском „Парусе“ нельзя сказать:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой,

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Московская встреча с В. М. была иной. Москва жила предгрозем, приходилось цитировать не созерцательного, туманного Лермонтова, а трезвого и ясного, настроенного пророчески, тоскующего по труду чеховского барона Тузенбаха: „Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25 — 30 лет работать будет уже каждый человек!“

В. М. Шулятиков был человек книжный, критик-марксист, я — представитель рабочей массы. Выходило так, что мы друг другу были нужны, создавалась между нами товарищеская близость, вопросы литературы мы связывали с революцией. Однажды он мне задал довольно внушительную трепку, когда я защищал „непотухающую силу“ Тургенева. Против Тургенева он выдвинул поэтессу Аду Негри, познакомил меня со своими переводами из нее. Поэзию Ады Негри о труде и трудящихся он считал началом новой литературы, чем он вызвал и меня на признание в том, что я — автор трудовой поэмы „Ткачи“. Он просил меня ее восстановить.

С „Ткачами“ я побывал и у Н. А. Рожкова,¹⁸ к которому я попал через Шулятикова с корреспонденцией для „Нашей жизни“ об ивановском погроме. Корреспонденцию Рожков одобрил, а поэму нет. Нашел ее тяжелой, но по содержанию интересной. Поэму я решил перекроить.

В истории „Ткачей“ был и довольно курьезный случай. В Рыбинске у меня имелся хороший знакомый Гордий Преображенский, студент, симпатичнейший юноша, тогда начинавший беллетрист. Он был знаком с моими „Ткачами“, читал их в нескольких интимных кружках. Захотелось ему их прочесть и на маевке. В день маевки зашел он ко мне за рукописью и для опоэтизирования своей фигуры взял у меня еще широкополую шляпу. Маевка не удалась, с маевщиками произошла обычная казацкая расправа. Шляпу Преображенский мне вернул, а рукопись нет: во время казацкой расправы, когда ему пришлось по-звериному ползать под кустами, рукопись каким-то образом выпала у него из кармана. Но о ней все-таки остались не одни только воспоминания. В некоторой части она сохранилась, так как отдельные ее куски позднее приняли форму самостоятельных стихотворений, из коих и сейчас можно составить поэму-мозаику о моей жизни.

На выручку меня в Москву, где я как безработный томился неопределенным положением — чем жить, что делать, приехал из Рыбинска С. М. Проскурнин,¹⁹ мой земляк, работавший тогда в рыбинских и ярославских газетах. К этому делу он решил приобщить и меня. Пришлось поехать. В Рыбинске я сделался его помощником, он был специальным корреспондентом газеты „Русское слово“. Платили хорошо, корреспондировали по телеграфу, к событиям были чутки, а их было много, да и на выдумки были горазды; иногда при корреспондировании мы прибегали к маленьким невинным вольностям.

За счет моих двух стихотворений, напечатанных в „Вестнике рыбинской биржи“, мы встречали новый 1906 г. Продолжали жить и надеждами на ослабление в Иванове черносотенной общественности, в руках которой оказалось первое печатное слово: с ноября 1905 г. начала выходить черносотенная газета „Ивановский листок“.²⁰

По поводу выхода „Ивановского листка“ нам писали: „Недавно в дом Тихомирова, в помещении его типографии, на углу Напалковской и Павловской улиц, был отслужен молебен. Молились за преуспевание окончательных побед над внутренним врагом, над безбожной и ненавистной купцам и помещикам революцией, ядром которой в Иванове являются рабочие. Молились за процветание свободы печати, дарованной манифестом 17 октября 1905 г. Молебен устраивал Павел Михайлович Зайцев — фельдфебель царской службы и бывший табельщик одного из ивановских заводов, а ныне редактор „Ивановского листка“. Культура фельдфебеля и табельщика уже начинает цвести махровым мракобесием, травлей рабочих и угодничеством перед полицией, фабрикантами, торговцами и обывателями.

Редактор „Листка“ особенно похож на фельдфебеля в „Хронике“ в которой он любит командовать „молодыми людьми“ в коротких куртках и штиблетах, называя их „освободителями“ и руководителями рабочего движения, приписывать им кражи и все виды уличного хулиганства. „Ивановский листок“ у нас называют органом „общественного потемнения“, тираж его ничтожен и на его рост никаких надежд нет“.

Читая такие известия с родины, приходилось говорить:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

В противовес этому бандиту мысли, политическому сутенеру Павлу Зайцеву, можно назвать другого Павла — Павла Симонова.²¹

Симонов в ивановском революционном подпольи был замечательной фигурой; в нем, как ни в ком другом, была заложена природа подпольщика. Он в течение нескольких лет не выходил из своего подполья, Ухитрился в самую жестокую пору преследования рабочего движения вывезти типографский станок из одного подземелья в другое. Он объехал с ним все окраины города, побывал и в его центре, в деревне, в соседнем городе Шуе. Меняя своих квартирных хозяев, он умел с ними встречаться и расставаться. А когда в конце-концов он попал на квартиру каторжной тюрьмы, то из крота он превратился в соловья, начал писать стихи, запел о солнечных днях и в тюрьме. Его очень ценил М. В. Фрунзе. Однажды мимо камеры Фрунзе он возвращался от судебного следователя. М. В. его оставил и спросил: „Ну как дела, Паша?“ — „Да на горе! Ждал 126-ю а дали только 102-ю“. В подземельи Симонову юридическими науками заниматься было некогда, он плохо разбирался в том, какая статья крепче, 102-я или 126-я. И М. В. их ему расшифровал, сказав, что дело его скоро будет под горой, на каторге. Но Симонова это не смутило: что ему каторга, когда он ее уже знал? Сложная и ответственная работа была для него не легче цепей, и эти цепи он носил с честью.

Одной из таких особенных побед в сентябре 1906 г. был выпуск газеты ивановской группы большевиков — „Известия“.

По размеру газета была в четыре страницы писчего листа бумаги. Выход этой газеты являлся опровержением тех кривотолков об ивановских рабочих, что их партийная организация и их вожди после октябрьского погрома никак не могут подняться и не поднимутся. А тут против всякого ожидания у самого носа Павла Зайцева вышла рабочая газета с корреспонденциями от целого ряда фабрик, со статьями о государственной думе, как на нее смотрят большевики. Правда, техническое оформление газеты было не без недостатков, оно в этом отношении „Ивановскому листку“ кое в чем уступало: у Павла Симонова не хватало нескольких букв из титульных и текстовых шрифтов, хотя остальное все было в порядке.

Выход „Известий“ привел Зайцева в неистовое бешенство, его газета ополчилась на „Известия“ с обычными помоями. И это было понятно. Но совсем непонятно было поведение губернской либеральной газеты „Владимирец“, напечатавшей из Иванова корреспонденцию об „Известиях“, что несомненно отразилось на дальнейшей судьбе газеты. Около нее и без этих указаний копошилась вся наружная и тайная полицейщина, а тут, изволите ли видеть, по служебному самолюбию жандармов начали бить еще

либералы, науськивать ее на подпольную газету. Выход „Известий“ ограничился только одним номером.

Недобрым словом приходится помянуть Павла Зайцева и за его обработку, за его эксплуатацию поэтов В. Ключина²² и М. Артамонова.²³

Работали они у него и терпели его, находясь в положении газетных, техников. Платил Зайцев им мало и этим он их вынуждал на приработок, заставляя их писать в угодном ему духе. Артамонов и Ключин представляли собой богему, бесшабашную, культурную вольницу. Тот и другой ежедневно и ежечасно старались освободиться от Зайцева, а выход из положения видели в издательстве, что осуществили и на деле. Ключин в течение года выпускал журнал „Иваново-Вознесенская жизнь“ и около того же срока выходил артамоновский журнал „Дым“. Артамонов свой „Дым“ начал издавать при 13 рублях в кармане, а Ключин был еще смелее — у него ничего не было, кроме семьи из семи человек да знакомства с маленьким типографом Бабановым. Бабанов выручил и Артамонова: первые номера „Жизни“ и „Дыма“ были иждивенческим делом Бабанова и бесплатного сотрудничества поэтов — И. Назарова, А. Благова, Якова Лепилова, Ивана Панкратова, от компании которых не отставал и я.

Оба журнала, в чем у нас не было расхождения, были убоги, но хорошо и то, что без материальной помощи, без участия интеллигентских сил мы издаем обличительные журналы, становимся до некоторой степени выразителями общественного мнения, имеем рабочего читателя, создаем свою рабочую литературу, развиваем навыки самодеятельности. И это надо считать если не за литературное, то во всяком случае за самое реальное культурное достижение.

Журналы, подобные ключинской „Жизни“ и артамоновскому „Дыму“, я знал в Рыбинске и Ярославле. В Рыбинске вместе с С. М. Прокуринным мы издавали „Дубинушку“; общий наш знакомый в Ярославле Куприянов издавал „Колотушку“. „Дубинушку“ мы начали издавать в самом буквальном смысле без копейки. Нас в этом деле выручил типограф Деменев и владелец газетного киоска С. Разроднов. Они сошлись на общей симпатии к нам обоим, а потому без особого труда мы их притянули к себе как бы в качестве соиздателей. Из нас образовалось в некотором роде коллективное товарищество. Никаких особых доходов из нас никто не получал, а какие доходы и причитались нашим соиздателям, то всякий раз, за каждый номер мы рассчитывались где-нибудь в трактире за чайком и графинчиком, а последний, заключительный, так называемый

„разгонный“ графинчик, часто превышал доход наших коллег. Разговоры за графинчиком всегда носили характер общественный, — говорили прежде всего о судьбах провинциальной печати. Разроднов под хмельком однажды договорился до того, что предлагал свой дом под общежитие для газетных работников. Не отставал от него и Деменев: и он для нас, пасынков жизни, готов был поступиться своей типографией, отдать ее в наше товарищеское кооперативное пользование.

После выпуска семи номеров „Дубинушки“ все литературные и кооперативные наши планы рухнули, — сотрудники и доброжелатели „Дубинушки“ в это время объявили ярославским охранникам войну. Нас, руководителей „Дубинушки“, в эту войну впутывать они не хотели, зная, что и в „Дубинушке“ есть материал, за который можно было притянуть. Мы местную цензуру обманывали тем, что печатали переводы с несуществующего новогреческого языка. Вот наглядный пример:

ИЗ МАКЕДОНСКИХ МОТИВОВ

(С новогреческого)

ПЕСНЯ КУЗНЕЦА

С вами — золото червонное,
Братской кровью обогрелое,
С нами — молоты и плуг
За века нужды и мук
С закаленной силой рук.

(Припев) Стук, стук!

Куй, друг!

Под звук

Стук, стук!

Знайте, деспоты развратные,
Мы куюм мечи булатные:
Ваши головы рубить,
Вашу кровь повсюду лить,
Чтобы волю раздобыть.

(Припев)

Всех побьем мы вас, губители,
Золотые повелители,
Нет от нас пощады вам,
Бессердечным палачам, —
Нет ее ни здесь, ни там...

(Припев)

Куй, разбей ударом молота

Поскорее царство золота.

Все по камню размечи,

Что воздвигли палачи,

Куй же, куй, смелей стучи!

(Припев) Стук, стук!

Куй друг!

Под звук

Стук, стук!

(Перевод С. Сырейщикова)

„Песня кузнеца“ Сергея Сырейщикова по всем признакам выходила за пределы „дозволенного“. Она напечатана была в октябре 1906 г., когда революционная волна уже спадала и поднималась волна реакции, преследования. Мы это сознавали, но в практике провинциальных издательств это называлось тем, что подходило под понятие „написать под занавес“, закончить дело с шумом, с эффектом, с музыкой, что в большинстве случаев отвечали подставные редакторы „отсидчики“. Получался в некотором роде благородный жест. Рыбинская цензура „новогреческий язык“ так и проморгала — мимо нее, да и мимо всех читателей рыбинских изданий проходило и такое бытовое явление старых газетных нравов. У „Рыбинского листка“ и „Вестника рыбинской биржи“ начинает падать „розница“. Враждебно настроенные друг к другу редакторы этих газет вдруг становятся „друзьями“, уговариваются попить вместе „чайку“, идут в трактир и прихватывают туда с собой сотрудников. За „чайком“ выбиралась тема, устанавливался срок, в течение которого газета газету должна обливаться помоями, деликатно называя это „полемикой“. „Розница“ газет от этого выигрывала, серенький рыбинский американизм хорошо отзывался на заработке розничников газет, сотрудники „гнали строку“, казались именинниками, а общественное мнение было одурачено.

Меня почему-то облюбовал рыбинский газетчик С. Я. Разроднов и решил послать торговать газетами в Ярославль.

К задачам этой торговли, ради должно быть моего морального удовлетворения, была пристегнута и задача борьбы с черносотенными изданиями, имевшими в то время большой сбыт в Ярославле.

Более внимательным и ежедневным посетителем моего ярославского киоска, открытого на Власьевской улице, был чиновник особых поручений при губернаторе — князь Голицын.

Он ежедневно у меня спрашивал „Вече“, „Московские ведомости“ и другие черносотенные издания, а я ему изо дня в день предлагал газеты другого лагеря. Тогда он начал меня донимать еще тем, что заставлял в этих газетах комментировать указанные им места — и я за свои комментарии побаивался.

Моим товаром начинали тяготиться и газетчики-разносчики, которые из-за более выгодных условий перешли ко мне от других хозяев. У них всегда спрашивали черносотенные издания, а у меня их не было. Тогда в одно прекрасное время посланную мною через них телеграмму — заказ

на газеты — они переделали и я вместо обычного набора газет получаю одно „Вече“ около 3 тысяч номеров.

Когда мне представилась возможность вернуться в Иваново, я очень жалел о том, что в Иваново я снова буду обречен на полное литературное молчание, и мне негде будет применить и свой опыт газетной техники. Но в таком бездейственном положении в Иваново я был недолго. В ночь на 3 июня 1907 г. меня арестовали, заставили отвечать за 3 июня 1905 г., когда я чуть не попал под казачий расстрел, и за то, что в октябре этого же года я был черносотенцами разорен и ими же присужден к самосуду. Тюремная контора вскоре мне объявила, что имеющееся за мной дело прекращено, надзор с меня снимается. А из тюрьмы меня все-таки не освободили, и этот тюремный анекдот кончился тем, что меня выслали в Олонецкую губернию. В ссылке оказался и Проскурнин, который был оставлен на исправлении в Вологде, где он скоро сделался своим человеком в местной прессе, реферировал земские собрания, а ссыльное население города было в большинстве из культурных центров. Столыпин высылал и тех, у кого совесть была не кознязычна, а мысль свободна.

На мою долю выпала олонецкая глушь. В эту глушь шли и ссыльные из глухих углов, „лесные братья“ — воронежцы, аграрники — киевляне и др. Они нередко создавали и такую обстановку, что южная глухомань шла войной на северную глухомань, создавались то и дело конфликты, на улаживание которых мы, два-три человека, будучи покультурнее других, тратили много времени. Мы растворялись в этой серой массе, а потому урядник и шпик своим посещением нас не донимали; мы не боялись за переписку, а я спокойно читал и писал, восстанавливая разрушенное черносотенцами, что позднее и вошло в мою книгу „Старый парус“.

Ссылка меня сделала большим поклонником эпистолярной формы, значение которой после дневников я считаю не менее ценным.

Мои самые близкими читателями того времени были С. М. Проскурнин и И. А. Волков,²⁴ с которыми я всегда был в переписке. Первый из них как поэт и во мне видел своего соратника, а второй — краеведа. Через первого я узнал, чем живет юг, его центр, через второго — чем живет Поволжье. Это были облюбленные места их скитальчества, их газетной работы, к чему они оба имели большую неодолимую тягу и чего они не могли иметь у себя дома, в Иваново. Сошелся я с ними в ивановском отделе „Северного края“ в пору молодого рабочего движения и еще более молодого, делавшего первые шаги, рабкоровского движения. Иванов-

ские передовые рабочие того времени, учуя в „Северном крае“ свою рабочую трибуну, начали выдвигать из своей среды в газету корреспондентов, по современной терминологии рабкоров. Отделением „Северного края“ в то время заведывала Ольга Алексеевна Белова (по мужу), родом из революционной семьи. Ее братья Александр и Виктор Вановские в свое время были довольно известными социал-демократами. Рабочие к Беловой сначала приходили только купить газету, подписаться на нее, а ей был нужен еще критик, серьезный читатель газеты. И когда она от рабочих узнавала, чего нехватает в газете, она им говорила: „А вы бы взяли да что-нибудь и написали в газеты!“ Писательство в то время для рабочих было делом мало привычным. Тогда она решила их сделать корреспондентами-устниками. Записанным с их слов она делилась и с нами, с более культурными рабочими, знавшими хорошо город и фабрику, и газетная заметка уже принимала форму коллективной обработки, когда мы в нее вносили то или иное исправление.

Популярность газеты и самой Беловой превратили ее отделение в штабквартиру революционных явок, в склад нелегальной литературы, в адресат конспиративной переписки.

Тираж „Северного Края“ поднимался, успехами его тиража и общественной значительности соблазнился и наш губернский центр—Владимир. Появилась и в нем первая газета „Старый владимирец“, основанная Левицким.

Соратники Беловой М. П. Капица²⁵ и мой молодой друг С. М. Проскурнин свою газетную работу разделили между „Северным краем“ и „Старым владимирцем“, в нашу группу первых ивановских газетных работников вошел И. А. Волков. Волков писал под псевдонимом „Кифа Мокеич“, Проскурнин—„Спиридонов поворот“, Капица—М. Радлов.

Как для „Северного края“, так и для „Старого владимирца“ сотрудничество указанной группы имело двойное значение: с одной стороны, оно служило их росту и развитию, а с другой,—заставляло цензуру быть более внимательной к корреспонденциям и статьям из Иванова, за что эти газеты не только подвергались репрессиям, но иногда и приостанавливались. „Северный край“ был вне черты нашей губернии и он продержался дольше „Старого владимирца“. „Северный край“ широко обслуживал и наше движение 1905 г. Отделение этой газеты во второй половине 1905 г. было в руках А. С. Самохвалова, у которого наше молодое рабкоровское движение было уже более организованным, его рабкоровы были не беловскими

устниками, а самохваловскими рукописниками. Самохваловское отделение было такой же революционной штаб-квартирой, каким оно было и у О. А. Беловой. Указанные две газеты создали и первых продавцов газет из рабочей среды. Особенно более заметными оказались Комиссаров и Андреев — это были первые рупоры, первые громкоговорители нашей первой революции 1905 г.

В поисках большего простора для своей газетной работы Проскурнин и Волков выехали из Иванова.

Проскурнин и Волков были авторами описания июньского расстрела наших рабочих в 1905 г. Московская „Северная почта“ за напечатание этой корреспонденции была приостановлена на месяц. Я расстался с ними, продолжая поддерживать связь через переписку. И откуда бы они мне ни писали, всегда меня спрашивали: „А в Иванове газеты все еще нет? Когда же она будет?“ Черносотенный „Ивановский листок“ как я, так и они считали как бы не существующим.

Волков в своих письмах всегда был озабочен тем, пишу ли я, печатаюсь ли? Несколько моих стихотворений он напечатал в царьдинских старых газетах типа „Волжско-Донского края“ и „Царицынского слова“. Еще в большей мере об этом заботился С. М. Проскурнин, но этот сам был непоседа. Человек неугомонной совести, прямолинейности, неспособный ни на какое прислужничество, он был все время неустroенным. То и дело менял города, редко лишь менял вечно худые башмаки, рваное пальто, или свое более чем скромное меню. Будучи уже женатым, он оставался поэтом богемы. Был он большим мастером и на выпивку, что по совокупности и привело его к преждевременной могиле. Умер он в 1923 году в Харькове.

Вспоминается мне многое из нашей совместной работы с Проскурниным.

К весне 1907 г. я имел за собой уже более двух лет безработицы, жил в Иванове за счет родственников моей жены. Положение было тяжелое, морально гнетущее. Попытки вернуться на фабрику в мастерскую всегда оспаривались моими близкими товарищами. Они мне указывали на существующий „черный список“, куда я был занесен как лишенный прав. Волею фабрикантов из трудовой семьи я был вычеркнут, на фабричных воротах для меня красовалась надпись: „смертный, оставь надежды“.

Восстановление утраченных прав лежало через худший путь испытания, через путь раскаяния, покорности перед палачами духа, разгул которых с каждым днем все разрастался.

Во время этих дней, жутких и черствых, я был очень обрадован письмом из Рыбинска от С. Проскурнина. Он мне писал: „Приезжай, есть интересное литературное дело“. Коротко, неясно, а поехать все-таки решил.

Была пасхальная неделя. Под звон пасхальных колоколов я встретил Сергея Михайловича торжествующим на прежней квартире очень милой семьи Дубровиных. Смотрю на него и дивлюсь — весь он в синей краске, как рабочий ситцевой фабрики. Спрашиваю, что это значит.

— Яйца красил. Под яичко можно и вышить по лампадочке.

Оказалось, что в краске он вывозился по близорукости при печатании подпольной газеты „Рыбинский затон“. Это и было то литературное дело, о котором он мне писал.

С. М. конспиративную работу очень любил, ни от какой работы никогда не отказывался, но из него революционного поэта все же не вышло. Он оказался поэтом-белоручкой, синюю краску „Рыбинского затона“ он отмыл, у выхода из рабочего города рабочего мировоззрения не оказалось.

Его книга „Замкнутый круг“ сделана хорошо, но в ней одно литературное нытье и книжность, не то, чем он жил когда-то, а то, чем жили в ту эпоху интеллигентские литературные верхи. Перерождение Проскурнина совершилось во время его работы в столичных и южных больших газетах. Работая в Рыбинске, С. М. имел перед собой издателя „Рыбинского вестника“ Семена Разроднова. Семен Разроднов своим сотрудникам никогда никаких требований не предъявлял, кроме одного требования: „Хроники побольше“. Он был гостеприимен, любил засадить за свое артельное общее блюдо. Его обеды напоминали обеды плотников, каменщиков, с обязательной командой „таскай со всем“, сопровождаемой стуком его ложки по блюду. За этим блюдом в свое время побывали многие дети народа, сыны рабочего класса: Тихоплесец, Никаноров-Коринский, Травин, Ожегов, И. Волков и др. Многие из его бывших „нахлебников“ писали свои воспоминания и несправедливо, необдуманно называли Семена Разроднова чуть ли не эксплуататором, домовладельцем, а на деле его дома были заложены и перезаложены. И думать, что он их строил за счет наших стихов и прозы, никак не приходится: на нас он разорялся, а не приобретал.

С. М. Проскурнин написал пьесу „Хозяин“ как продукт своей ненависти к действительным дельцам газетного мира более высоких степеней и масштаба, чем рыбинцы. В пьесе не было ни „Рыбинского затона“, ни

разродновских „побольше хроники“, „таскай со всем“, а изображен был быт культурных живоглотов. Этот материал своей новизной подкупил М. Горького и Л. Андреева, они с пьесой „Хозяин“ считались, как с литературным значительным явлением. Пьесу нигде не ставили. Мои попытки показать в Иванове земляка-драматурга наткнулись на такое затруднение:

„Ну, кому здесь нужна пьеса из газетного мира, когда у города нет никаких ни литературных, ни газетных традиций?“

Здесь кажется уместно поставить вопрос: почему же из С. М. Прокурягина, всегда настроенного революционно, всегда мыслящего по-революционному, не получилось пьеса первой русской революции? Он очутился в тугую затянувшуюся петлю, в „замкнутом круге“.

Мне кажется, что он подвел себя ставкой на высококультурного читателя. Как взыскательный художник он чурался низов, не хотел видеть своими читателями широкой рабоче-крестьянской массы, не учился у нее. А ведь ее репертуар старых народных песен был всегда репертуаром очень хорошего вкуса, что являлось и ее личным большим мастерством массового коллективного творчества.

Свои наблюдения за низовым читателем я считаю своей учебой. На этих уроках я научился свойственной мне простоте языка, бытовой тематике, демократизации человеческого материала, научился защищать положение, что художественно чаще всего то, что легко запоминается.

У меня есть стихотворение, озаглавленное

У ПРОРУБИ

В полушубках рваных, рыжих,
Рыбу удит детвора;
Зябнет, греется на лыжах
У огромного костра.
„Песню пахаря“ Кольцова
Декламирует один.
Глушь кругом, а мастер слова
И в глуши здесь господин.

Мы в изгнании, а привольно
Все нам кажется кругом.
В чтении как-то произвольно
Стих вставляем за стихом.
Улыбается счастливо
Чтение вызвавший малыш.
И бегут, бегут красиво
От костра дорожки лыж.

Это происходило в глуши Олонедкого края, во время мартовского уженья ершей. В этом факте я видел восприимчивость трудового народа, чуткого к художественному слову, к обаятельной кольдовской простоте, чуждой щегольской заумности, так трудно запоминаемой. Поразительно было то, что собрались люди из разных концов, разных возрастов, а хре-

стоматийное стихотворение Кольцова у всех так свежо в памяти, как будто оно у нас заучено твердо на всю жизнь.

Нечто подобное тому, как воспринимает художественное слово народ, я встретил еще раньше, когда шел в олонецкую ссылку. Рыбинский конвой в Белозерске передал нас архангельскому конвою. Архангельцы были построже, чем рыбинцы. Военную дисциплину соблюдали свято. Им, в большинстве поморам, ходившим матросами в „Норвегу“, была хорошо знакома матросская дисциплина, и они нас в этапных избах старались держать в строгости и подчинении. Но и они иногда скучали, ради скуки часто прислушивались к тому, о чем мы спорили, и нередко смеялись, декламировали Некрасова, Шевченко и др.

Конвоиры вздыхали... И в этих вздохах чувствовалось, слышалось раскаяние, голос человека, задавленного, обманутого святостью присяги. А с воли, с улицы слышался другой голос, как бы поддакивающий нам:

Ой, как стало тяжело жить,
Горе наше копится,
Ведь отец чужой, на нас
Глядячи, навопится.

К числу тюремных поэтов в летописи пролетарской литературы надо отнести довольно колоритную фигуру Никифора Ивановича Махова, родом из села Стебачева из тогдашнего богобоязненного Суздальского края. Махов в Иваново-Вознесенске появился в пору создания первых социал-демократических кружков, когда рабочие, подобные Махову, плохо ладили со своими фабрикантами-хозяевами, по доброй воле и поневоле переходили с фабрики на фабрику, а потом в течение многих-многих лет, но только уже поневоле, перекочевывали из тюрьмы в тюрьму. Первым стихотворением Махов ознаменовал первую встречу рабочими Иванова нового года. Это был канун 1896 г. На конспиративной квартире, в сильно накуренной комнатухе, но без крепких напитков, рабочие дискуссировали, пели песни и декламировали стихи народовольцев, на что Махов как бы хотел сказать: и наши не хуже ваших. Он посмотрел на своих товарищей и прочел следующее свое стихотворение:

Мы как члены славной партии,
Социальной демократии,
Мы прогресс желаем ей,
Мы гроза купцов, царей,
Мы враги такого строя,

Где бездельники царят,
А рабочих, все создавших,
Страшным голодом морят.:

Стихи Махова по форме были не выше стихов рабочих поэтов — Фролова, Шатунина и др. Но в содержании их уже ярко начинает выявляться подлинное лицо рабочего класса, развертывание его боевых путей.

Махов написал немного, и все им написанное датировано годами и помечено местом его отсидок в больших и малых тюрьмах того огромного полицейского участка, имя которому было „Российская держава“.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нечаяев Сергей Геннадиевич (1847 — 1882) — родился в Иванове и жил там до 1865 года. Интересные данные о генеалогии Нечаяева, его раннем детстве, Нечаяев подросток и пребывание его в Иванове приводит на основании архивных и других материалов П. М. Экземплярский в статье „Село Иваново в жизни Сергея Геннадиевича Нечаяева“ („Труды Иваново-Вознесенского губернского научного общества краеведения“, вып. 4 — „Историко-революционный сборник“, Иваново-Вознесенск 1926 г.), см. также ст. Н. Ф. Бельчикова „С. Г. Нечаяев в с. Иваново в 60-е годы“ („Каторга и ссылка“, 1925 г., № 1/14).

2. Ежедневная газета „Современные известия“ выходила в Москве с 1868 по 1887 г. Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824 — 1887) — известный в свое время публицист, примыкавший к славянофилам.

3. Орехово-зуювская забастовка, известная в истории революционного движения под именем морозовской стачки, происходила с 7 по 14 января 1885 г. Поводом к ней послужили незаконные штрафы, применявшиеся на фабрике Морозова, а также понижение расценок Организатором стачки был П. А. Моисеенко. После морозовской стачки началась целая полоса забастовок.

4. Гора Покровская, на которой до недавнего времени стоял в Иваново-Вознесенске Покровский собор, — одно из центральных, но тихих мест города, любимое место сборов молодежи в дореволюционное время.

5. Суховский Иван Осипович, брест-литовский мещанин, сын военного фельдшера, один из основных руководителей кружка, не шел дальше „просветительских“ задач.

6. „Кружок“, о котором пишет Ноздрин, был разгромлен в 1891 г. В нем преобладала интеллигенция; основной целью ставилось „саморазви-

тие", социально-политические задачи были выражены слабо. Участники кружка: Слуховский, Бабилов, Суховский, Крестов, Ноздрин. Об этом кружке см. статью Н. В. Малицкого „Тайное общество в гор. Иваново-Вознесенске в 90-х годах XIX столетия“ („Труды Иваново-Вознесенского губернского научного общества краеведения“); в этой статье приведен отрывок А. Е. Ноздрина из его рукописи „О себе. 1862 — 1922“, дающей краткий пересказ того, что публикуется о кружке в настоящих мемуарах поэта. См. также статьи в сборнике „XXV лет РКП (большевиков). Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков“, Иваново-Вознесенск 1923. Более крепким и рабочим по составу и близким к демократическим идеям по направлению был последующий кружок, руководимый студентом Ф. А. Кондратьевым, из которого позднее возник „Иваново-вознесенский рабочий союз“.

7. Семенчиков Роман Матвеевич (1877 — 1911) — выдающийся рабочий-революционер, по происхождению крестьянин с Сидоровского Шуйского уезда. Работая в Кохме на фабрике Ясунинских, быстро втягивается в рабочее движение. Участник тайного рабочего союза в 1897—1898 гг. в Кохме. С 1898 г. — в Иванове, где становится участником рабочих масовок. В 1904 г. казаки жестоко расправляются с Семенчиковым, избив его и перерубив пальцы рук. Далее — революционная работа в Риге. В 1906 г. Семенчиков приговаривается к смертной казни (замененной 15-ю годами каторги). В Смоленской каторжной тюрьме принимает активное участие в организации так называемой „голой“ забастовки. Проводил заключение в Шляссельбурге. Умер на каторге. О Семенчикове см. А. Н. Рябинин „Материалы для биографии Р. М. Семенчикова“, Гиз, 1922. Помимо биографии, здесь приведены интересные статьи, письма и отрывки из дневников Семенчикова.

8. Постышев Павел Петрович — выдающийся рабочий-революционер, ныне секретарь ЦК КП(б)У и Киевского обкома. В описываемый Ноздриным период отбывал наказание во Владимирской каторжной тюрьме.

9. Симонов Павел — о нем см. примечание 21.

10. „Северный край“ — ярославская газета, основанная в 1898 г., одна из лучших провинциальных газет, неплохо освещавшая хронику рабочего и революционного движения.

11. Шестернин Сергей Павлович — иваново-вознесенский городской судья, принимавший горячее участие в культурно-просветительной работе среди рабочих. Был близок к кружку иваново-вознесенских рабочих (так называемому тайному обществу, образовавшемуся после разгрома

Иваново-Вознесенского рабочего союза“). Привлекался к дознанию в качестве обвиняемого по процессу общества и был распорядителем книжной лавки, имевшей целью смычку интеллигентов с рабочими. Н. В. Малицкий в упоминаемой выше статье приводит следующие места из показаний Шестернина: „В Иваново-Вознесенске при 54 тысячах населения не было ни одного книжного магазина, народных библиотек и читален и других просветительных учреждений тоже не было. Мне лично как судье при разборе дел постоянно приходилось наблюдать, что громадный процент всяких правонарушений совершается виновными в пьяном виде. В то время на улицах, особенно в праздничные дни, валялись повсюду пьяные, везде происходили драки и насилия. Такое одичание вполне понятно, если принять во внимание, что ежегодно до 500 детей не принималось в школы из-за отсутствия в них свободных мест“.

12. Письмо Короленко к Н. К. Михайловскому опубликовано в сборнике „В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921 гг.“, под ред. Б. Л. Модзалевского. П., 1922 (№ 38 от 23 сентября 1900 г., стр. 64—66).

13. Грачов Николай — выдающийся революционер, рабочий Иваново-Вознесенска.

14. Носков Владимир Александрович (умер в 1913 г. в Хабаровске) — видный революционер, участник социал-демократического движения. Один из главных организаторов „Северного рабочего союза“. В Иваново-Вознесенске учился в реальном училище, позднее вошел в рабочие кружки и примкнул к марксизму.

15. Приводимое место из статьи Новикова прекрасно доказывает, что Горький в образе Пелагеи Ниловны (роман „Мать“) дал верное типовое обобщение матери рабочего.

16. Ивлева Е. В. — хорошо известная членам иваново-вознесенской организации большевиков-революционеров, впоследствии отошедшая от движения и формально не состоявшая в партии. Оказывала огромное содействие работе организации.

17. Шулятиков Владимир Михайлович (1872—1912) — известный публицист-литературовед, один из ранних марксистских литературных критиков.

18. Рожков Николай Александрович (1868—1927) — крупный историк, активный участник революции 1905 г.

19. Проскурнин Сергей Михайлович (1880—1923) — журналист, поэт и драматург (псевдоним „Милый Стремич“). Типичный провинци-

альный работник печати, исколесивший почти всю Русь. Не имея твердых политических взглядов, Проскурнин, однако, чутко отзывался на современные темы и, будучи незаурядным фельетонистом, смело боролся за независимую провинциальную печать и за лучшее существование народных масс. В Рыбнине он вместе с Ноздриным издавал сатирический журнал „Дубинушка“. В 1907 г. был выслан на три года в Вологодскую губернию. Лирика его собрана в книге „Замкнутый круг“ (изд. „Общественная польза“, 1913); из пьес его ставились „Звоноварь Реймского собора“, „Хозяин“ — из жизни газетных работников.

20. „Ивановский листок“ был махровой погромно-монархической газетой и велся довольно безграмотно. Редактор его П. И. Зайцев, бывший ротный фельдшер, член „союза русского народа“, издавал газету не столько по призванию к тяжелому газетному делу, сколько предвидя выгоды от служения печатному делу (см. о нем „20 лет по газетному морю“ И. А. Волкова).

21. С и м о н о в Павел — рабочий-революционер, токарь механического завода, блестящий организатор подпольной типографии 1905—1906 гг. Был членом Совета рабочих депутатов Иваново-Вознесенска. Типография вначале помещалась на квартире Симонова, затем была передана на Борисовскую улицу. Работал Симонов по созданию типографии и в Шуе до конца 1906 г. О деятельности типографии Симонова см. в статье В. Симонова „В подполье“ (сб. „Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков“).

22. К л ю н и н Василий Егорович — иваново-вознесенский фельетонист и поэт, редактировал журнал „Иваново-Вознесенская жизнь“. В своих ба-нальных по форме стихах, помимо изображения купеческого и мещанского быта, касался и тяжелой доли рабочего; ясно выраженных политических тенденций его газетная лирика однако не имела.

23. А р т а м о н о в Михаил Димитриевич, (р. 1889) — поэт, деятельный сотрудник иваново-вознесенских изданий как дореволюционной так и революционной поры. В 1913 г. издает в Иваново-Вознесенске журнал „Дым“ и выпускает сборник своих стихов: „Когда звонят колокола“ и „Улица фабричная“. Позднее — ближайший сотрудник большевистской „Правды“, „Работницы“, „Вопросов страхования и других изданий“. С 1924 г. — в Москве. За революционный период издано несколько сборников его стихов, рассказов и очерков.

24. В о л к о в Иван Андрианович (р. 1881) — иваново-вознесенский литератор-„газетчик“. Очерки его из фабричной жизни с сатирическим пока-

зом ивановских фабрикантов печатались в 1903 г. во „Владимирской газете“ под названием „Ситцевое царство“. Сетрудничал в „Северном крае“ и многих других провинциальных газетах, давая корреспонденции о положении рабочего класса в „Русские ведомости“ и другие столичные издания. В революционные годы изданы следующие книги И. А. Волкова „Ситцевое царство“ с предисловием М. П. Сокольникова („Основа“, Иваново-Вознесенск 1925), „Двадцать лет по газетному морю“ (Основа 1925), „Ситцевое царство“, том второй („Основа“ 1920), „Бунтаря“ — сцена из истории рабочего движения 1905 г. („Основа“, 1925). О нем см. брошюру М. П. Сокольникова „Литература Иваново-Вознесенского края“, Иваново-Вознесенск, 1925, стр. 26—27.

25. Капица Михаил Петрович (1870—1924) — участник подпольных, революционных кружков Петербурга и антиправительственной демонстрации 13 апреля 1891 г. в день похорон Н. В. Шелгунова. В Иваново-Вознесенске был с 1900 по 1905 г. в должности фабричного инспектора. Проявил большое внимание и чуткость к местному рабочему населению, защищая всячески его интересы как по служебной линии, так и в печати. Печатался до революции под псевдонимами Михаил Радлов и Т. Произведения его печатались в „Русском богатстве“, „Журнале для всех“, в „Северном крае“, „Владимирской газете“, „Правде“ и мн. др. Среди его беллетристики не мало очерков и рассказов из рабочей жизни („С путанкой попалась“, „Дядя Семен“, „Нищенствующие дети“, „Хожалый“, „Ан-тип“, „Абдулка“, „Кузнец Тихон Ермолаевич“, „Таскальщик Егор“ и др. Некоторые из его рассказов вошли в книгу „Живые фотографии“, М. 1904 г. под псевд. Михаил Радлов). В революционные годы выпущен был отдельным изданием „Котлочист Ваня“ (Л. 1924) — повесть об ужасающих условиях труда малолетних рабочих-котлочистов. Незадолго до смерти Капицей подготовлена была для печати книга произведений под названием „Пролетарские рассказы“. О нем см. статью Леонида Богданова „Бытописатель рабочего края“ (Литературное приложение к „Рабочему краю“, 22 мая 1928 г., Иваново-Вознесенск).

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Старый парус	5

В ГОРОДЕ ТКАЧЕЙ

У грозного порога	9
Старый город рабочих	11
У фабричных застенок	12
Сменные	13
Смерть ткача	14
Этапы	15
Старая ткачиха	16
„Интернал“	17
Старая песня о труде	19
Шпики и пресняки	20
Отцы революции	22
Золотое детство	24
Роман	26
В боковуше	27
Церковный пейзаж	28
Семидесятилетний юбилей большевички	29
Нелегальный	31
„Цветут фиалки“	32
Юбилейное	33

ПЯТЫЙ ГОД

9-е января	37
Накануне мая	39
Забастовка	41
На другой день забастовки	43
С Уводи на Талку	45

На митинге	49
У кроваво-роковой грани	50
Талка	52
Тридцатилетие	53

ЗВОН КАНДАЛЬНЫЙ

Перед дневкой	57
В „восьмерке“	59
Одиночество	60
Пьяница	61
Они ушли	642
В крылатке	65
Летом	66
Охота	67
Воспоминание	69
Мои раздумья	7
В пути следования	72
Олочанка	73
Этап	74
В пору столыпинских галстуков	75
Новички пришли	76
Вьюга	77
Товарищ Буянка	78
Домой	79

ГОДЫ ВОЙНЫ

Война	83
В улице	85
Сиверка	86
Кровавая дата	87

КРАСНАЯ ВЕСНА

Красная гвоздика	91
Знамя	92
Старик	93
Свет земли	94
Кремень-самоцвет	95

Невеста	96
Неузнаваемая	98

ПРОИЗВОДСТВО

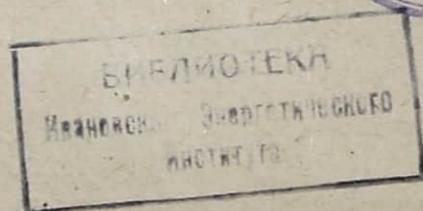
„Дилехторша“ Мотя	101
Рассказ старика	103

СТАРАЯ И НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

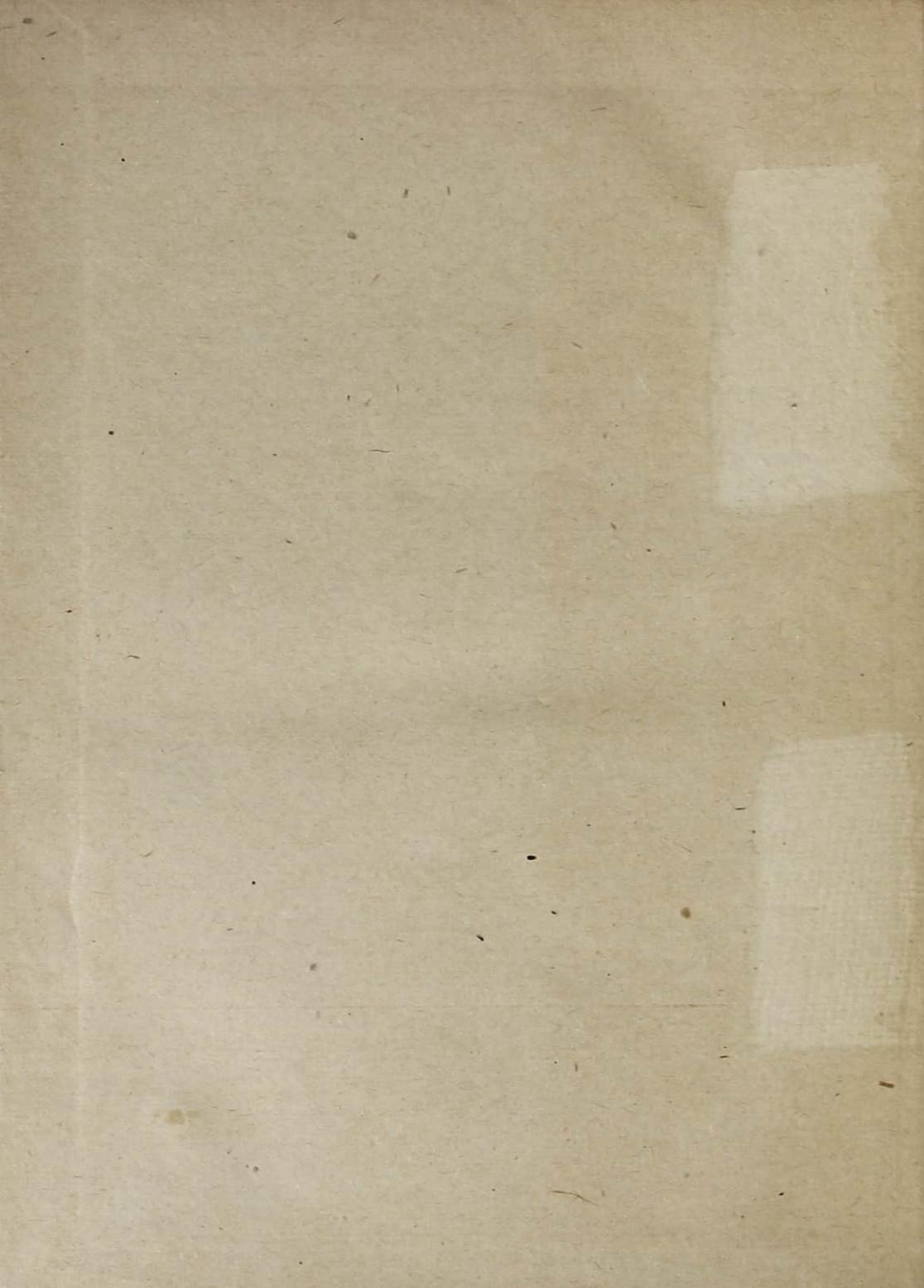
Беспомощные	107
О злополучном Климе	109
Невеста	110
На суде	111
В карельской избе	113
На нови	114
Вторая большевистская	116
Деревня Зыбиха	118
Хорошо!	119
У костра	120
Комсомольская	121

ИНТЕРСВЯЗЬ

В долине Талки. Интернациональный детский дом	125
Негр	129
Интернациональная	131
Моя дежурка	132
К итогам жизни	133
<i>Примечания к стихотворениям</i>	135
Как мы начинали. Из литературных воспоминаний	139
<i>Примечания</i>	177



ВО
ТИ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Дм. ПРОКОФЬЕВ

Алексей Шкаров. 2 изд.
Цена 2 р. 90 к. в переплете

*

МИХ. ШОШИН

Астра. Цена 1 р. 40 к. в
переплете

*

Дм. ПРОКОФЬЕВ

Оля Генкина. Цена 25 к.

*

В. П. КУЗНЕЦОВ

Окружной агитатор „Арсен-
ний“. Цена 35 к.

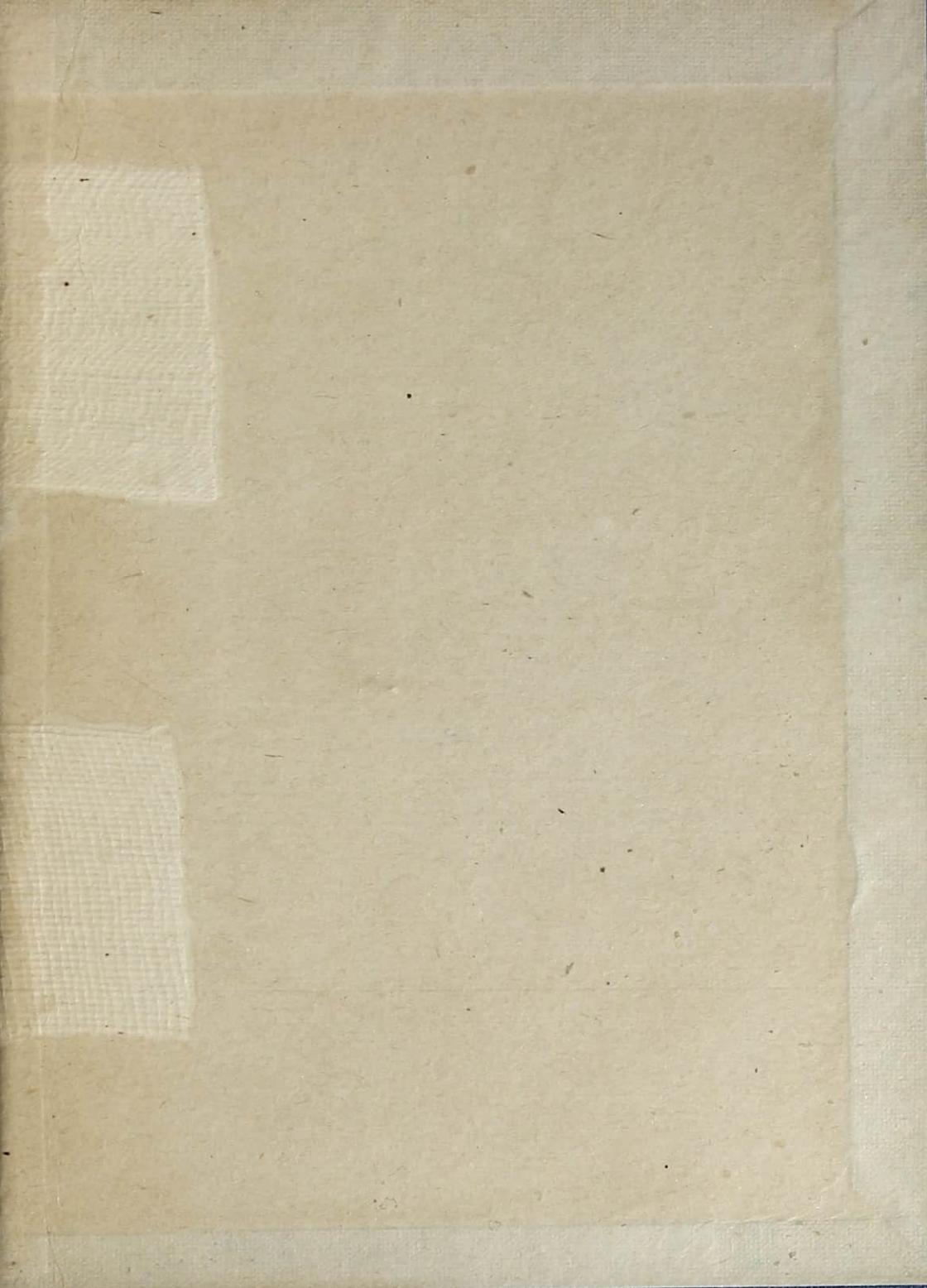
*

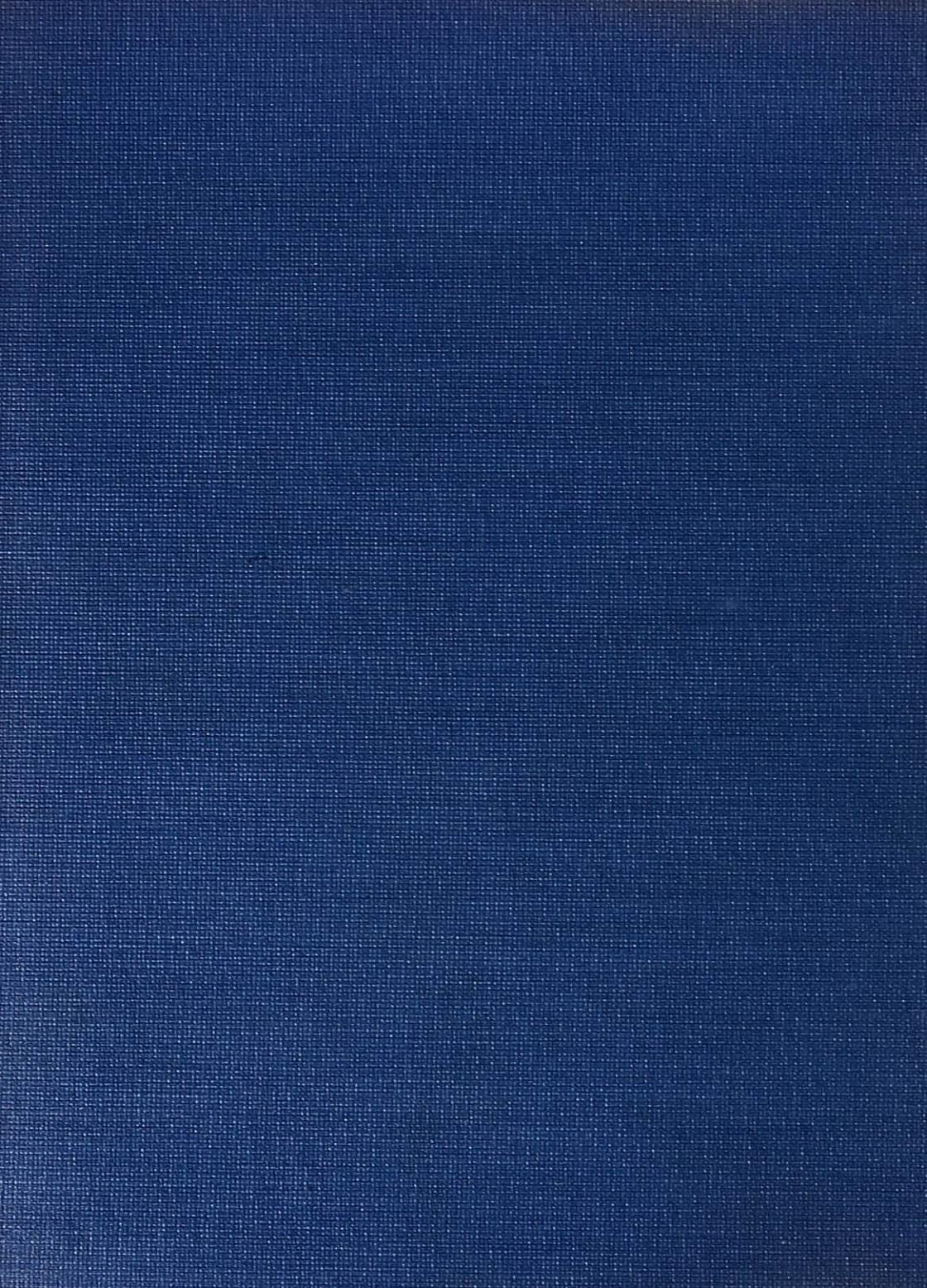
ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

А. КНЯЗЕВ

Лен. Пьеса

Цена 3 руб.
Переплет 1 руб.







ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Дм. ПРОКОФЬЕВ
Алексей Шкаров. 2 изд.
Цена 2 р. 90 к. в переплете

*

МИХ. ШОШИН
Астра. Цена 1 р. 40 к. в
переплете

*

Дм. ПРОКОФЬЕВ
Оля Генкина. Цена 25 к.

*

В. П. КУЗНЕЦОВ
Окружной агитатор „Арсе-
ний“. Цена 35 к.

*

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

А. КНЯЗЕВ
Лен. Пьеса

Цена 3 руб.
Переплет 1 руб.



